

ВІЛЬНЕ

ВОЛЬНОЕ

КАЗАЧЕСТВО

КОЗАЦТВО



10-25 Července 1931.

Volné Kozáctvo

Ročník IV.

10-25-го июля 1931 г.

84-85

10-25-го липня 1931 р.

П Р А Г А

П Р А Г А

ГОД ИЗДАНИЯ 4-ый

РІК ВИДАННЯ 4-ий



1. Людмила Костина: После бала. (Po plese).
2. Вячеслав Седов: Лесник Савоскин. (Hajný Savoskin).
3. Гарун Дальвей-Бей: На распутьи. (Na rozcesti).
4. Борис Кундрюцков: Гимн Казакии. (Hymna Kozákii).
5. Памяти Н. С. Рябовола. (Za N. S. Rjabovolem).
6. А. Ленивов: Аграханские казаки. (Agrachanští kozáci).
7. Шамба Балинов: Чем было Казачество. (Čim bylo Kozáctvo).
8. Павел Кудинов: Восстание Верхне-Донцов в 1919 г. (Povstání Vrchné-Doncov r. 1919).
9. И. М. Назаров: Два дня в Кизляре. (Dva dny v Kizljaře).
10. В. П. Елисеев (В. Петров): „Большая человеческая правда“ и „казачий национализм“. (Velka pravda lidská a kozácký nacionalismus).
11. Елисеев-Бидолага: Песнь, иль гимн? (Piseň nebo hymna?).
12. Учур Алексеев: Под властью красных. (Pod vladou rudých).
13. А. Литовкин: Несостоявшийся поход. (Neuskutečňný projekt).
14. Думы и мысли. (Dumy a myslí).
15. Е. Б. Булавин: Белый всадник. (Bílý jezdec).
16. Казачья эмиграция. (Kozácká emigrace).
17. В Казакии. (V Kozákii).

Почтовый ящик.

Чили. — И. Ш. — Присылайте продолжение. Привет.

Югославия. — П. А. — Получено. Привет.
Польша. — А. — Получено. Когда позволит обстановка и средства В. К. соберет съезд, а пока будем продолжать то, что начали. Привет.

Франция. — О. Ш. — Будет напечатано. Привет.
Лион. — А. Л. — Получено. Привет.

Югославия. — А. П. — Получено. Привет.

С. Америка. — Е. Б. — Получено. Привет.

Польша. — С. Л. — Одержали. Вітаємо.

Белград. — В. К. — Будет помещено в след. номере. Привет.

Югославия. — В. П. — Сообщите свою фамилию.
Югославия. — С. С. — Одержали. Вітаємо.
Земун. — П. К. — Будет напечатано в след. номере. Привет.

Югославия. — Я. К. — Получено. Привет.

Болгария. — И. Т. — Получено. Привет.

Галац. — А. Б. — Будет помещено. Привет.

Болгария. — А. П. — Получено. Спасибо.

Болгария. — П. В. — Получено. Спасибо.

Болгария. — Н. С. П. — Получено. Спасибо.

Франция. — Ф. О. — Получено. Спасибо.

Румыния. — С. М. — Получено. Привет.

Не принятые к напечатанию рукописи не возвращаются.

Представители журнала „Вольное Казачество — Вільне Козацтво“:

В Ч. С. Р.:

В БРНО: Виктор Карпушкин.

В БРАТИСЛАВЕ: А. Л. Персидсков.

В ЮГОСЛАВИИ:

А. А. Гейман. Заечар.

Г. В. Алферов — Мраморак. (Banat).

А. Чекин. Крагуевац.

П. Апостолов. Скопье.

В РУМЫНИИ:

С. М. Маргушин. M-eur Margouchine. Str. Mocancuta, 12, Bukarest V.

В. П. Елисеев. M-eur Elisseeff, Cluj, Str. Baba Novac, 23.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:

П. С. Ковган. Харбин. Биржевая, 58. (P. Kovgan. Harbin. Birjeva, 58).

В ПОЛЬШЕ:

Б. В. Фесенко. W. P. Ing. W. Fesenko, ul. Twarda, 50, m. 3.

Вл. Еремеев. W. P. Wl. Ieremiejew, Grajewo, ul. Boguszewska 5, m. 1.

С. Тулаев. — W. P. S. Tulajew, Hotel „Sokolowski“, ul. Niemecka, 1, Wilno.

В БРАЗИЛИИ:

С. Савицкий. S. Savitzky. Caixa postal № 38, Porto Uniao — E. Sta. Catharina.

В О Ф Р А Н Ц И И:

Ш. Н. Балинов. M-eur Balinoff, 1, rue Vautier, Joinville le Pont (Seine).

M-r Ivanoff, cantine russe, „С. G. c. V.“ Paray le Monial (Saone et Loire).

Е. М. Якименко. M-eur Yakimenko, 29, rue de la Tour, Malakoff (Seine).

Т. К. Хоруженко. M-eur Khoroujenko; 82, av. Sidoine Apollinaire, Lyon-Vaise.

А. К. Ленивов. M-eur Lenivoff; 27, rue Neuport, Monplaisir-Plaine. Lyon.

И. В. Чуприна. M-eur I. Tchouprina; 59, rue du Marechal Joffre, Cenon (Gironde).

С. И. Шепель. — M-eur Chépel, canep Victor Hugo, Refuge Russe, Marseille.

И. Т. Курило. M-eur Kourilo, Bourg des Maisons, par la Tour Blanche.

В БОЛГАРИИ:

П. Н. Кудинов. Александрово — гара. Видинско.

Т. Л. Ляхов. София, ул. Бачо-Киро, 52.

Н. В. Аниканов. Княжево-Софийско, б. Ц. Борис, 85.

Н. Егоров. Лом, ул. Царь Асенъ, 20.

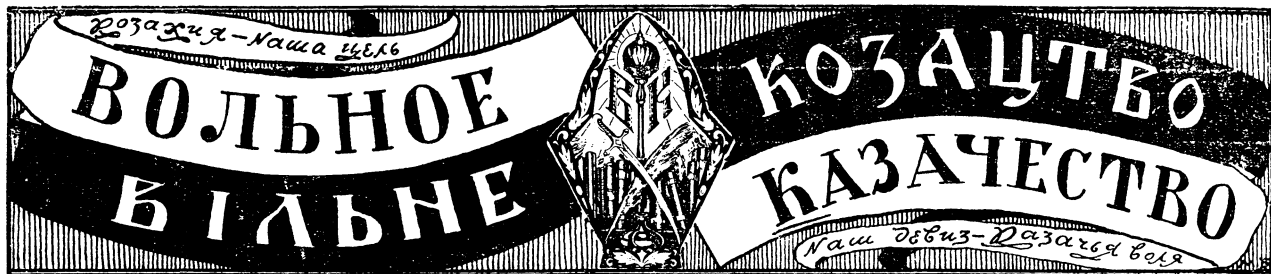
В БЕЛЬГИИ И ЛЮКСЕМБУРГЕ:

Ив. П. Егоров. (M-eur I. Egoroff) 21, rue Godefroid Devreese, Bruxelles.

В СЕВ. АМЕРИКЕ:

А. Д. Аникушин. M-r Anikoushine 2287 Columbus R-d, Cleveland, Ohio (U. S. A.).

Отчет о парижском собрании „Общества ревнителей Казачества“, посвященном памяти Н. С. РЯБОВОЛА, будет помещен в следующем номере.



— VOLNÉ KOZÁCTVO — LES COSAQUES LIBRES —

Иллюстрированный двухнедельный журнал литературный и политический.

(Vychází 10 a 25 každého měsíce).

Редактор И. А. Билый.

Редакция и администрация: Praha-Vinohrady, Hradecká, 2207. Tchecoslovaquie.

№ 84—85

Суббота, 10—25 июля, 1931 — Суббота, 10—25 липня, 1931.

№ 84—85

Людмила Костина. (Югославия).

ПОСЛЕ БАЛА.

Пришла и бросила увядшие гвоздики —
Теперь ненужный скомканный букет...
Уже ронял по стенам полублики
Сквозь щели ставень брезжущий рассвет.
Пустые комнаты насмешливо молчали,
И что-то прятали ревнивые углы,
И в ранней тишине так четко отмечали
Свои шаги квадратные часы.
В потсках света модные мотивы,
И много фраз, и много много лиц,
И где то там в душе невольные извивы,
И близость дерзких колющих ресниц...
До боли сжала дрогнувшие руки.
Как странно все... и в голове туман...
И чьих то слов непонятые звуки...

Везде обман... тревога и обман.
Еще пылают плечи от объятий,
Дрожит неровно жемчуг на груди,
И как то ново шипром пахнет платье,
И в волосах пестреет конфетти.
Простит ли тот невольную измену —
Неверный штрих разлуки и тоски?
Молчат угрюмо замкнутые стены
И горек вздох подавленной души...
В отливах зеркала неясны очертанья,
И бледны пятна утренней зари...
А на столе, забыто умирая,
Сильнее пахнут тонкие цветы...

6-IX-1930.

Вячеслав Седов. (Франция).

Лесник Савоскин.

Правый берег Дона. Горы, горы и горы... Местами совершенно голые, каменные, местами покрытые чахлой польной и низкорослой колючей боярыней. Кое-где у подножья одиноко стоят кудрявые, вечно страдающие от засухи, бесплодные, с уродливо изогнутыми стволами яблоньки. А между горных шпилей часто прорезываются балки с пологими берегами и глубокие овраги, промытые весенними водами, стекающими с гор. Балки и овраги, за редким исключением, заросли лесом: дубом, вязом, караичем и паклинком. Здесь же часто можно встретить родник холодной ключевой воды, вытекающий из каменной или глинистой почвы. Все эти водостоки берут свое начало на вершинах гор и впадают в Дон. У подошвы гор лежит ровный луговой берег Дона, заросший стройными высокими вербами, тополями и густым красноталом.

В одном месте, где Дон делает крутой изгиб, в котловине у подножья крутой горы, утопая в густом старом лесу, приютился небольшой мужской Вознесенский монастырь. Говорят, что монастырь этот построен очень давно — двести пятьдесят — триста лет назад. Цель постройки была — дать приют старым безродным казакам. Не знаю, были-ли там когда-либо казаки или нет, но в мое время, когда я поближе узнал монастырь, я встретил там только двух казаков: одного старого монаха и лесного сторожа Савоскина, который

служил там тридцать лет бесменно. Большею же частью в монастыре были монахи с Валаам. Что их тянуло в этот монастырь — не знаю. Правда, жил монастырь безбедно: земли было достаточно, озера изобиловали рыбой, луга травой. Летом и весной, особенно на Вознесенье, его посещало много богомольцев, которые тоже вносили в него посылную лепту. Во всем видно было довольство и достаток: скот породистый, крупный, жирный; гумна полны скирд хлеба; постройки капитальные, сделанные из кирпича или из крепкого толстого дуба: позади монастыря раскинулся богатый фруктовый сад и образцовый пчельник. Все эти богатства монастыря, а, главным образом, великолепный лес охранялись старым лесником Савоскиным, о котором я и хочу рассказать.

Савоскина я знал еще с самого своего детства: он часто приносил к нам в станицу продавать древесный уголь. Всегда он был с ружьем за плечами и с большой охотничьей сумкой через плечо. О нем, помню, очень много говорили как о человеке-звере и мы в детстве боялись его. Но позднее, когда я познакомился поближе с Савоскиным, все рассказы оказались или слишком преувеличенными или просто ложными.

В 1910 году я приехал в станицу на лето и, по некоторым обстоятельствам, остался и на всю осень. В станице скука страшная. Дома в летнее время остаются

ся старики, бабы и дети, а все остальные работают в поле. Я, от нечего делать, пристрастился к охоте и стал проводить целые дни в лугах, охотясь за утками. Слышал, что в монастырских озерах очень много дичи, но так как там можно было охотиться только с разрешения архимандрита, к которому у меня не было желания ехать и просить его об одолжении, то я довольствовался пока тем, что было в нашем станичном юрте.

Был уже конец сентября. Начались осенние дожди, а по утрам густые туманы. В одно такое туманное утро я решил поохотиться на вальдшнепов, которые бьются в наших краях пролетом только весною и осенью. Я шел по низине луга, заросшей высокими вербами. Отросшая после покоса трава зеленела увядающей зеленью. Пожелтевшие листья верб при малейшем дуновении ветерка летели на землю вместе с каплями росы. В воздухе свежо и сыро. Небо серо с низко ползущими облаками.

Моя собака то и дело останавливалась, легко нходя дичь по росистой траве. Но птица, вылетая из под ваших ног, казалась в тумане невероятно больших размеров и сейчас же пропадала из ваших глаз в белесоватой дымке тумана. Я стрелял много и больше „мазал“. Временами туман как будто рассеивался. Чуть-чуть проглядывало солнце сквозь пелену облаков. Становилось сразу как-то светло на душе. Ярко золотились листья на деревьях. Прозрачнее зеленела трава. Алмазами искрились капли росы, повисшие на кустах и траве. Но все это было минутой. Надвигается вдруг снова густой туман. Померкнет солнце. Забрызжет мелкий, мелкий, как сквозь частое сито, дождь.

Было уже двенадцать часов, когда усталый и мокрый, я решил возвращаться во-свои. Но идти обратно тем же путем было далеко и мне случайно пришла мысль переехать где-нибудь на рыбацкой лодке через Дон на правую сторону, чем путь сокращался почти вдвое. Я пошел по песчаному берегу Дона, но ни одной лодки, как на зло, нигде не было. Я вышел напротив монастырского леса, который высокою стеной чернел в густом тумане по правую сторону Дона. У моего берега плавно покачивалась на воде красная лодка с двумя веслами, надетыми на крючки. Я обрадовался. Но подойдя поближе, радость мгновенно исчезла. Лодка оказалась прижкнутою железною цепью к толстой вербе. Я сел на песок и, закурив папиросу, стал терпеливо ожидать. Прошло не более получаса, как моя собака вдруг залаяла и бросилась в хворост. „Свой, свой!“, раздался резкий мужской голос. И, раздвигая хворост руками, предо мной очутился Савоскин. Я сразу узнал его: он не изменился с тех пор, как я знал его в детстве.

— Доброе здоровье!, проговорил он, прикасаясь концами пальцев к козырьку фуражки. — Что, охотиться? спросил он, усаживаясь не песок рядом со мною.

Я предложил ему папиросу. Он взял, помял ее в своих сухих костистых пальцах и, прикурив у меня, стал внимательно меня рассматривать.

— Да вы чьи будете? спросил он.

Я сказал. Лицо его расплылось в широкую улыбку и он, дружески протягивая мне свою большую руку, проговорил весело.

— Ху, ты, Боже мой! свой человек! Дедушку вашего я хорошо знал, а с родителем вместе служили в батарее. Вас я знал ишо маленьким, а вот теперь никак не признаешь. Выросли вон какой молодец!..

Он засыпал меня вопросами, я отвечал и рассматривал этого грозного лесника. На вид ему можно было дать лет пятьдесят, но на самом деле оказалось значительно больше. Он был среднего роста, но сложен богатырски. Широкие плечи, резко выдающаяся вперед грудь, длинные цепкие руки и большая голова на толстой короткой шее. Вся его фигура дышала силой и ловкостью. Лицо его было не красиво: широкое, круглое, с прищипнутым утиным носом. Густая красная борода росла чуть не от самых глаз и придавала лицу его суровый вид. Но стоило лишь посмотреть ему в глаза, как впечатление менялось: в них отражалось такое простодушие и доброта, что, казалось, они ласкали, гладили вас. Одет он был в бумажную защитно-

го цвета тужурку военного образца и такого же цвета штаны. На голове — защитная фуражка. На ногах большие из толстой кожи башмаки с железными подковами. За плечами торчало двухствольное дешевое центральное боя ружье; на боку — большая кожаная сумка с ремешками на крышке для убитой дичи. Я спросил его имя и отчество. Он весело засмеялся и сказал:

— Меня редко кто знает как звать. Все Савоскин, да и только. Ну, если вам хочется, извольте! Зовут меня Семеном Митрофаньчем и чин — бомбардир.

Он опять засмеялся весело, беззаботно и продолжал:

— Когда меня мать провожала на службу, то приказывала — заслужишь, сынок, бонбонир — не обижай командира, — ну я и не обижал! — проговорил он скороговоркой и проворно поднялся на ноги. — Ну, соловья баснями не кормят! Я ведь живу вот прямо через Дон. Садитесь в лодку! — обратился он ко мне. — Поедем ко мне! Там обсушитесь. Бабка моя уже теперь топит печку: холодно! мокрота!.. Поджарит нам свежих карасей. Нынче я десятка два вытряхнул из сетей. Я на хутор сбегая, принесу водочки, нутро погреть. А бабка будет рада — без памяти! Она ведь вашу всю семью знает. Все, бывало, ижевику таскала к вам продавать.

Я действительно был мокр, устал и чувствовал голод. Теплая изба лесника, жареные караси, величественный монастырский лес — все это манило меня к себе. Я с радостью уселся на корму лодки. За мной впрыгнул весь мокрый мой английский сеттер. Савоскин ловко оттолкнулся веслом от берега и мы поплыли. Лодка плавно скользила по синей водной глади, оставляя за собой светлую полосу. Длинные весла казались игрушечными в могучих руках лесника. Он редко, не спеша поднимал и опускал их и, казалось, без всякого напряжения, не меняя положения корпуса, греб одними руками.

Лодка плыла быстро. Левый берег скрывался в тумане. А прямо перед нами, в сырой мгле, чернел монастырский лес. Он на наших глазах вырастал все выше и выше и скоро верхушки его потонули где-то в мутном небе.

— А что вы нынешним летом охотились на куропаток? — спросил у меня Савоскин, когда мы выехали на середину Дона, и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Много их у нас развелось за последние годы. Раньше их выводили шатрами и вентерками, а теперь всюду охотничьи сторожа стали и за это судят строго. А настоящих заправских охотников почти нет. Казаки ведь наши по куропатке или вальдшнепу стрелять не stanno: заряд, скажет, тратить на такую мелочь! Да и не легко ее куропатку-то стрелять — птица быстрая, живая!

— А хорошо вы стреляете? спросил я его. (Я слышал, что Савоскин стрелял мастерски).

Лесник чуть-чуть улыбнулся себе в бороду и ответил:

— А кто его знает? Много всякой твари Божьей перевел на своем веку. Бил волков, лисиц, зайчишек, уток, куропаток, дудаков, стрепетов, вальдшнепов, бекасов, перепелов, а когда был на службе, убил несколько диких коз. Охоту я люблю! — продолжал он задумчиво и лицо его приняло серьезное сосредоточенное выражение. — Охота меня и привязала к лесу. На Покров вот сравняется тридцать лет, как я здесь служу. Привык. Каждую балочку, озерцо, каждое почти деревцо знаю!

— Ну и не скучаете? — спросил я.

— Я? Нет! Бабке моей вот скучновато. Правда, я то ведь дома не живу: то на охоте, то в обходе, то рыбу ловлю, а она все одна, да одна. Летом то у нас постоянно народ: то на богомолье идут, то бабы приходят рвать ижевику, то приезжают на охоту из Кременской станицы. Ну, а вот зимою зачастую за целую неделю живой души не увидишь, если не пойдешь на хутор или в станицу.

Лодка врезалась в песчаный берег и остановилась. Мы сошли на берег, заросший красноталом и бурьяном. Савоскин вытащил лодку на берег, прижкнул вес-

ла к цеци и проворно зашагал по мокрой тропинке. Я шел за ним, едва поспевая, и любовался сзади его мочуей фигурой. Он был так легок на ходу и подвижен, что, смотря на него, можно было подумать, что это не старик, а совсем молодой человек.

Мы пересекали песчаную косу, отделяющую лес от Дона. Было сыро, свежо. Сеял мелкий осенний дождь. Стройный тонкий хворост, лишенный летнего покрова, казался беспомощным, жалким. Длинные узкие листья его не так давно еще ярко зеленые, теперь желтые, безжизненные, были рассеяны по песку. Высокий бурьян, насыщенный влагою, печально склонил свои головки к земле. Густая щетка ижевника еще зеленела, но какою-то поблекшею зеленью. В воздухе пахло плесенью и прелой гравой.

Тропинка скоро вывела нас на небольшое изрытое картофельное поле. Илистая, нанесенная весенними водами, почва вместе с картофельной травой липла к моим сапогам и делала их неимоверно большими и тяжелыми. Я еле передвигал ноги. Мой спутник ничего не замечал. Он все той же быстрой, легкой походкой шел впереди меня и молчал. Моя собака, спокойно бежавшая впереди нас, вдруг подняла морду, потянула несколько раз носом воздух и, быстро описав ноль, сделала стойку на краю поля у небольшого куста ижевники.

— Здесь табунок куропаток, — сказал мне негромко Савоскин, проворно снимая с плеча ружье. — Было двенадцать штук, но я как-то убил четыре, а восемь осталось.

Я приготовил ружье. Лесник, взведя курки, и, положив ружье на плечо курками вниз, как это делают испытанные охотники, подкрадываясь пошел к собаке. Он, видимо, боялся как бы она безвременю не спугнула дичь. Я успокоил его на этот счет. Мы подошли к собаке шагов на пять. Она стояла как вкопанная, красиво подняв переднюю ногу и вытянув шею. Я командовал обычное „пилль“. Мой сеттер сделал короткое порывистое движение и остановился опять. Я повторил команду. Собака пошла осторожными короткими шагами, высоко поднимая ноги. Я думал, что куропатки или бежали или же были здесь раньше и собака обманулась. Вдруг влево от меня загремели две птицы. Я выстрелил два раза. Одна стукнула о землю, а другая, опустив ноги, по наклонной опустилась в хворост шагах в сорока от нас.

Только что я сделал шаг к убитой птице, как раздалось еще два выстрела с чуть-чуть заметным промежутком и две куропатки, одна за другой, камнем упали почти у моих ног. Я посмотрел на Савоскина. Он спокойно стоял в стороне от меня с заряженным уже ружьем на плече и левой рукой засовывал пустые патроны в сумку, а глазами наблюдал за собакой, которая скакала во всех направлениях.

— Где же ишо четыре? — проговорил Савоскин, видя, что собака, после напрасных исканий, принесла раненую мной птицу. — Я хорошо знаю, что их было восемь.

— Наверно, кто нибудь убил из охотников? — сказал я ему.

— Нет! Скорее всего чстребок разбил их как нибудь, а охотники без меня здесь никогда не охотятся проговорил Савоскин убедительно, прикрепляя к своей сумке убитую дичь. —

— Люблю, грешный человек, я больше всего стрелять куропаток, — продолжал он. Птица быстрая... Летит, как стрела!.. И вся она какая то особенная, чистая, опрятная... Даже и умирает-то не так, как другая птица...

Мы перерезали небольшой участок леса, углом подходящей к берегу, и подошли к небольшой, длинной, бревенчатой, крытой соломой избе лесника.

— Вот мое все и хозяйство! — сказал Савоскин, засмеявшись. — Как у турецкого святого! —

Я посмотрел на скромное жилище этого лесного человека. Изба стояла как-раз на грани леса с одной стороны, а с другой подошвы горы, заросшей полынью и лебедой. К самой избе концом подходила полоска бачки, на которой виднелись большие серые, продолговатые тыквы и изредка мелкие арбузы. Не далеко

от избы стоял покосившийся на одну сторону, полураскрытый сарай; а рядом с ним такой же ветхий курник, около которого бродили три-четыре мокрые, растрепанные курицы. В конце избы были наложены в беспорядке дрова. Ни изгороди, ни другой, какой-либо, пристройки не было. Высокая, оголенная осенью дикая конопля и густая пожелтевшая лебеда воображаемого двора напоминали мне заброшенные усадьбы, в которые давно уже не ступала нога человеческая. Но здесь тридцать лет без перерыва живут люди.

Около самой избы звонким лаем встретил нас высокий борзой кобель, но сейчас же замолчал, узнав хозяина и начал обнюхивать мою собаку. В окне я увидел женское лицо. По шатким ступеням мы вошли в темные сени.

— Бабка! — закричал Савоскин — становь самовар! Жарь рыбу! Дорогого гостя я тебе привел! Вот угадай кого? — спросил он, когда мы вошли в комнату.

Высокая полная женщина с приятным лицом, скрестив на груди руки, внимательно рассматривала меня.

— Нет, не угадаю, — сказала она.

Савоскин назвал меня. Женщина радостно всплеснула руками и заговорила певучим голосом:

— А я гляжу, по наличию чаевой-то знакомое, а не вспомню. Копия ведь мамаша! Да какой богатырь-то вырос! Я видела тебя еще маленьким, маленьким, — пела она. — Да скидай пиджак то и сапоги! Счас сушить буду. У нас в хате тепло. Печка топича...

Она хлопотливо развешивала мою одежду, усаживала меня к печке и все время награждала меня ласковыми названиями:

— Соколик ты мой! да весь то он мокрый! А сапоги то? сто пудов! грейся, грейся. А ты, отец, беги на хутрор, принеси водки! — приказывала она леснику.

Эта заботливость и такое радушие смущало меня, но я подчинялся требованиям старухи, боясь обидеть ее. Я сидел у раскаленной до красна железной печки, отвечал на бесконечные вопросы старухи и рассматривал комнату. Комната была небольшая, но светлая, чистая и уютная. В переднем углу было много старинных деревянных икон и висела большая зеленая лампадка с белым положком. На божнице лежали два пасхальных красных яйца, два пучка ковыля и еще какой то травы. Под иконами стоял большой стол, покрытый клеенчатой скатертью. Большая дубовая скамья тянулась во всю стену. Три табуретки стояли рядышком у другой стены. Большая деревянная кровать с горкой красных подушек, была покрыта ватным одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков. Все было бедно, но чисто, в порядке. Нигде ни пылинки. Сосновый пол блистел белизной. Пахло мятой с древесным углем из печки.

— Не скучно Вам здесь? — спросил я старуху.

— Нет. Теперь ничего... Привыкла — ответила она. А вот как сначала, когда поселились здесь, сколько я тут слез пролила. Приехали мы сюда зимою. Кругом снег лежит — не вылезешь! С одной стороны степь, с другой лес... Ни души нет поблизости. А как завоюет вьюга в трубе, зашумит лес, такая смертная тоска находит, что ложишься да умираешь. А тогда еще волков много было. Как заведет какой-нибудь, да и воет всю ночь. А я забьюсь в уголок на кровати, накроюсь с головой одеялом, да и реву до тех пор, пока мой Митрофаныч придет с обхода. С ним то не страшно! Он ведь у меня ничего не боится. Бессранный! Ну, а потом, как пожили года два-три, я тоже привыкать стала, — продолжала старуха. А теперь так прижилась, что думаю, если бы уехать отсюда куда, то с тоски бы пропала. — Старуха проворно жарила рыбу и продолжала рассказывать. — Да и пора привыкнуть! Вот уж тридцать годов прожили тут.

— А детей у вас не было? — спросил я.

— Ну, как не быть! — затараторила старуха. Пятеро было. Трое померли маленькими ишо, а две дочери замужем. Вот один зять с дочкой все зовет к себе жить на хутор. Да куды там! Мой Митрофаныч руками и ногами. Говорит: умру с тоски по лесу. Да она и то правда. Любит он лес и не знаю как. Зимой ишо бывает дома, а как веснуется весна, я его по целым дням не вижу; так и живет в лесу. Весною рыбу ло-

вит, а как начнется охота с ружьем днюет и ночует в лесу.

Савоскин быстро возвратился с бутылкой водки в руке.

— Ну вот и я, — проговорил он, — и погода прояснилась, — продолжал он, ставя три больших стакана на стол. — Туман прошел, греет солнышко. Выпьем, закусим и поведу вас в свой лес. Вальдшнепов у меня тьма тьмущая. Настреляетесь досыта.

— Ну, не хвались, а вперед Богу помолись! — вставила с улыбкой старуха. Пойдешь да и не найдешь ни одного.

— А я тебе говорю, — ответил Савоскин улыбаясь, — два, а то и три десятка принесем.

Я выпил стакан водки и хорошо закурил карасями. Бабка лишь пригубила, зато Савоскин один почти осушил бутылку. Я стал побаиваться за него, что он будет пьян и не пойдет на охоту. Но водка, наоборот, только разожгла в нем охотничью страсть. Он раскраснелся и стал особенно разговорчив и весел. Ел с большим аппетитом и, видимо, спешил.

Было уже три часа, когда мы вышли из избы. Солнце ласково освещало землю испускающую из себя теплый пар. Черный до этого лес, омывтый влагой тумана, был как то особенно чист и светел. Пожелтевшие листья старых дубов и караичей теряли скопившиеся капли росы, которые падали нам на головы и руки, а иногда за ворот рубахи и катились холодными, но приятными струйками. Мы шли по узкой извилистой дороге, ведущей в монастырь, заросшей подорожником и ижевкой с чуть заметными мокрыми колесами. Чирикали радостно, прыгая с ветки на ветку, воробы. Каркала на вершине высокого дуба ворона. В лесу было темно и сыро. Солнце кое где просвечивало между деревьями, кладя узкую светлую полосу на мокрой траве. В сыром густом воздухе пахло болотом. Лес поразил меня своим величием. Толстые коренастые дубы как великаны среди других деревьев гордо стояли, широко раскинув свои могучие ветви с вырезными еще зелеными листьями. Рядом, как младшие братья, стояли стройные крепкие караичи с серой морщинистой кожей. Здесь же между этих богатырей приютилась тоненькая стройная с нежной белой корой, как девушка в подвенечном уборе, молодая березка. А вон на косогоре, как зеленый зонтик, стоит сиротливо, Бог знает откуда занесенная сюда, молоденькая, еще не окрепшая елочка. Вправо на болотистой низине, словно насаженные, правильными рядами стоят высокие стройные вербы, покрытые ветвями лишь на самых верхушках. Цепкий хмель плотно обвил некоторые стволы их, поднимаясь иногда до самых верхушек. Корни деревьев густо уплетены были ижевкой. По обе стороны видны были высохшие озера, заросшие высоким камышом, осокой и белым талом.

— Это Грязнуха вот, — называл мне лесник озера. — А это вот Фролово. Сейчас они высохли, а на Петров день в них море воды, а уток? Пропасть! Я поведу Вас в хорошее место — обратился он ко мне. Вальдшнепов и тут вот много, — указывал он на вербы, да уж дюжа там теперь грязно, хотя стрелять хорошо: вербы голые и не густые.

Мы вышли в конце неширокой полосы молодого дубового леса. Молодой дубняк, заросший ижевкой и полынью, казался молодым, еще не окрепшим поколением. Виднелись толстые голые пни срубленных старых дубов. Плетучая ижевика путала ноги мешала идти, щедро смачивая росой мои сапоги и широкие штаны лесника. Под ногами чувствовалась влажная мягкая почва, усталая травой и спадающими листьями.

Вальдшнепов действительно оказалось много: моя собака чуть не через каждые пять шагов делала стойку и, вместо одной, часто подымала двух — трех птиц. Мы не поспевали заряжать ружья. Выстрелы один за другим глухо отдавались в воздухе. Я, разгоряченный обилием дичи, подзадариваемый присутствием лучшего стрелка в округе, часто делал промахи. Савоскин, наоборот, был спокоен и стрелял бесподобно. Меня удивляло его проворство и верность глаза. Я видел, как один раз два вальдшнепа, вылетев из под наших ног, не полетели от нас, а „взылись“, как говорят охот-

ники, „колом“ над нашими головами в верхушки деревьев. Я не успел еще приложить ружье к плечу, как прогремел рядом со мной двойной выстрел и обе птицы, ударяясь о ветви и обсыпая нас каплями дождя, мертвыми стукнулись у наших ног.

Мы возвращались обратно, когда у нас истощились патроны. У меня в сетке оказалось восемнадцать убитых птиц, у лесника двадцать одна. Я сделал двенадцать промахов, Савоскин один и то, благодаря тому, что ружье его сделало осечку и он стрелял вторично уже далеко.

В лесу темно. С юга надвигался туман. Скрывавшееся солнце еще слабым светом освещало из-за горы верхушки деревьев. Желтые пятна бегали по слабо колыхающимся листьям. Была жуткая лесная тишина. Не стукнет дятел, не каркнет ворона, не чирикнет ни одна птичка.

Мы шли по узкой лесной тропинке. Вечерняя осенняя свежесть проникала в тело и заставляла его временами вздрагивать. Савоскин шел впереди веселый и довольный удачной охотой. И все время говорил. Об охоте, о красоте леса весною, о зимних выюгах, о весеннем разливе. И во всем он находил только хорошее радостное.

— Хорошо жить человеку на свете, — говорил он задумчиво. — Все дано ему Господом Богом: и земля, и вода, и лес, и вся живая тварь. Бери все, радуйся и наслаждайся жизнью. Так нет! все еще мало есть. Чего то не достает. Все чаво-то придумывает, лезет и на небо, и в землю, чаво-то ищет неположенного. Забыли Бога, живут во зле, один под другим подкпопы все делают. А все деньги! Из-за денег и все несчастье на земле. И убийства всякие, и суды, и зло... — Нет! воскликнул он громко и убедительно — раньше лучше люди жили. Просто было и все на слово верилось. А теперь все на бумаге, да на свидетелях, да на судах ездят. Грамотные стали! Теперь поглядишь на молодёжь и диву даешься — шапки старику не ломают. А бывало, когда я вот рос, всякому старому человеку — и почет, и уважение. Боишься слова сказать неприличного. А теперь матершинку только и слышишь. А скажи чаво-нибудь, так они на смех подымут старика...

— Савоскин замолчал. Мы выходили из леса. Тяжелый туман спускался все ниже и ниже. Окунал сначала верхушки деревьев, пополз по стволам и опустился на землю. Наступила темная осенняя ночь.

После ужина, состоявшего из жареных вальдшнепов, мы решили спать с лесником в другой половине избы, служившей ему сеником. Старуха разослала нам широкую полсть, положила две подушки и громадный тулуп.

Я улегся на душистом сухом сене. Было мягко. Приятно отдыхало усталое тело. Савоскин еще долго делал курить в потемках, а затем минут десять молился, читая вполголоса молитвы, одна за другой. Наконец, улегся и он. Мне, несмотря на усталость, спать не хотелось и я решил вызвать лесника на разговор.

— Правда ли, Митрофанович, про вас говорят, что Вы грозный лесник и никому спуску не даете? спросил я Савоскина.

— Обязанность свою справляю, — ответил он. За что же меня бы и держали тридцать лет и деньги платили, кабы я не глядел и не соблюдал монастырское добро? Наялся — продаялся, — встал он пословицу и продолжал: Вот ижевнику тоже архимандрит запрещает рвать, а я не дюжа за этим гляжу — все равно ее всю не порвешь и много ее пропадает даром. Не горю, конечно, никому, што, дескать можно, а так просто идут бабы в лес, я знаю за чем, но как будто не вижу. Но, а вот на счет леса, рыбы, али охоты — не прогневайся! Да и, правду надо сказать, народ у нас тут смерный, не воровливый, да к тому же, у казаков и свой лес есть — нет большой нужды воровать. Помню, первый год, как я поступил, подкатывались ко мне с водкой кое-какие, да потом поняли што меня водкой не подкупишь и отстали. — Лесник помолчал с минуту. И заговорил снова. — Зимой для меня плохо. Дон станет — дорога всюду. А казаки дома все, без дела. Лежит, лежит да и надумает — „ай поехать срубить полозки на сани или спилить вербу на развод“.

Да запряжет и поедет. И выбирают што ни есть самую выюгу — не слышать, мол, будет стуку топорного, да и лесник, мол, не вылезет из хаты. Ну, а меня-то никакой погодой не удивишь; привык, лес знаю, как свои пять пальцев. Ну и нагрнешь на какого-нибудь задонца, ноймаешь одного, двух, а у других и отобьет охоту.

— А сколько вам платят? — спросил я Савоскина.

— Да плата небольшая, — ответил он. Сорок целковых в год, сорок пудов жита и дров, сколько хочешь. Дают травы для покоса, да мне нашто она нужна. Коровы не имею, а так вот скошу немного на всякий случай. Заедет когда кто, да вот сплю я тут до самых морозов. В хате мне душно, да и курю я ночью, а бабка у меня не любит табак.

— Но ведь это же мало для того, чтобы жить вдвоем? — спросил я лесника.

— Нет! — ответил он, — хватает. Я охочусь — дашь кому либо дичинки, а он тебе молока принесет горшок, а нет — сала. Бабка прядет шерсть, вяжет чулки, тоже зарабатывает. На рыбе я хорошо зарабатываю. Приезжают покупатели из Арчады и забирают сразу всю, сколько бы не было; и цену хорошую платят. Да много-ли нам надо? Меня вот только обувка искореняет. Постоянно хожу и за год две пары чирюков и сапоги изнашиваю. Нет, не мало! проговорил он как будто думая о чем-то совершенно другом. Жить можно. Приезжают часто на охоту г. г. офицеры из Кременской, с Черной поляны, из Арчады и тоже постоянно дают, кто целковый, кто два, а войсковой старшина Катасонов всегда пятерник и водки — зайлейся...

Савоскин замолчал, видимо о чем то раздумывая. В комнате было темно и тихо. В окно на высоте наших голов мелкою дробью барабанил дождь. Чуть-чуть хлопывал ветром ставень. В углу пел сверчок.

— Давно ли построен этот монастырь? спросил я.

— Бог его знает — ответил Савоскин. Много я слышал всяких рассказов об этом от старых людей, да не знаю — правда, не знаю — нет. Говорят, что давным давно, может быть сто, может быть двести лет назад, спасались тут двенадцать братьев монахов. Говорили, что они были сперва разбойники, а потом раскаялись и пошли замаливать свои грехи. Сколько они тут жили — неизвестно и никто о них не знает. Но в одно время, как раз на Вознесенье, шли плоты по Дону.

Доплыли до того места, где теперь монастырь, и остановились. Мучились-мучились — не идут и шабаш. Вода бежит, а плоты стоят на месте. Что думают за оказия? Слезли на берег, а на берегу лежат двенадцать монахов. Одни говорят — убитых, другие — просто мертвых, а возле их икона Вознесения Христова. Бурлаки вырыли могилу и похоронили всех в одной братской могиле и на могилу положили икону, а как только кончили похороны, плоты поплыли опять вниз по Дону. Вот стало быть и разнеслась молва об этом и пошли сюда богомольцы со всех концов. Многие, говорят, исцелялись от прикосновения к святой иконе...

Лесник замолчал, сел на постели и, шурша бумагой, начал делать кутить.

— Ну вот, стало быть, дошла эта весть до Атамана, — продолжал Савоскин, улегшись снова со свечей папирсой в зубах. Атаман приказал построить тут церковь Вознесения Христова и основать Монастырь и назвать его Вознесенским. Говорили мне, что каждый год, в ночь под Хр. Вознесение, двенадцать монахов, во всем черном, обходят всю землю и лес монастырский и поют тропарь Вознесения Христова. Я каждый год под Вознесенье всю ночь был в лесу, али на монастырском поле, но ничего не видел. Можя я грешный, не удостоился видать святых, можа это не правда, а можа и монахи прогршили. И святая братия отступилась. Кто его знает? Правда, слышал один раз — пели в лесу много голосов тропарь, но никого не видел. Можя это мне почудилось... Лесник опять замолк на минуту, затянулся два раза табачным дымом и заговорил вновь. — Монахи теперь тоже распустились. Лопают мясо, пьют водку, а многие имеют и баб на хуторах. Да, упала вера православная, разбаловался народ. Да оно к тому и идет — последнюю тысячу доживаем. Старинные книги верно говорят, что перед концом света оскудеет вера, будет только зло на земле. Оно так и есть...

Лесник тяжело вздохнул, сотворил молитву и замолчал. И через несколько минут уже раздавался рядом со мной его богатырский храп. Меня тоже клонило ко сну. Засыпая, я еще ясно слышал шлепанье дождя в оконные стекла, стук ставней о стенку. Отчетливее доносился шум леса. Осенний ветер разыгрался.

1927 года, 16 июня. Кан.

Гарун Дальвей-Бей. (Югославия).

НА РАСПУТЬИ.

Разрушить сны, уйти от счастья,
Предаться вечному труду,
В себе носить к другим участие
За их такую же нужду...

О, бездорожье! О, туманы!..
Печаль и черная тоска...
Мечтами жить — одни обманы,
Мираж пустынного песка...

Борис Кундрюцков. (Белград).

ГИМН КАЗАКИИ.

(Проект).

В Казакии славной
На страже Державной
Стоит Атаман-богатырь.
Блюдет он законы,
Народные стоны
Не мутят родимую ширь...
И чтим мы заветы,
Любовью согреты
Погибших героев всех чтим.
И с милостью Бога
Родного порога
Свободу и честь мы храним...

А в наших станицах
На ризах и лицах
Святых пуль зияющий след...
У каждой дороги
Кресты есть убоги —
Свидетели горя и бед...
Тягчайшие годы
Прошли... И невзгоды
Степной перенес богатырь,
Разбиты препоны...
Народные стоны
Не мутят родимую ширь...

Памяти Н. С. Рябовола.

27 июня (14 июня по ст. ст.) исполнилось двенадцать лет со дня трагической смерти первого и постоянного председателя Кубанской Рады. В день этой печальной годовщины в прошлые годы (1928 и 1929) на страницах „В. К.“ отведено было свое место и дана была надлежащая оценка этому больше чем горестному событию. Чтобы напомнить, как реагировала Кубань на известие об убийстве ее лучшего сына, приведем ниже целиком отчет о заседании Кубанской Законодательной Рады, состоявшемся после получения из Ростова первой вести о постигшем ее несчастье 14 июня (27 по новому ст.). Ответ этот печатаем так, как он изложен в „Вольной Кубани“, в номере от 15 июня (28 июня по новому ст.). Вот он:

Заседание открывается в пять с половиною часов вечера речью заместителя председателя Законодательной Рады Султан Шахим Гирей. Султан Шахим Гирей сообщает Раде о трагической кончине в Ростове председателя Кубанской Краевой Рады Николая Степановича Рябовола, убитого за народоправство, за казачьи права и казачью лучшую жизнь и предлагает почтить его память.

Все члены Рады тихо поднимаются, и в течение всей речи царит глубокая тишина.

Нет слов, говорит Султан Шахим Гирей, — чтобы высказать все то возмущение, какое охватило наши души, которое охватило борцов за народоправство. Совершившееся событие заставляет нас задуматься и обдумать наши отношения к тому, что нас окружает. Мы можем смело сказать, продолжает председательствующий, — что мы являемся передовыми борцами за народоправство. За него погиб Николай Степанович Рябовол, но история запечатлеет проклятиями имена тех, кто поднял руку на борца за народоправство.

Я не могу в полной мере и в полном внимании охарактеризовать ход событий, но, кажется, вы сами понимаете, над чем свершался суд, суд свершался не только над личностью Н. С. Рябовола, тут была предана суду вся Кубань. Сердце каждого из нас подскажет вам это.

Султан Шахим Гирей далее приглашает членов Рады прервать заседание и отправиться на панихиду. Заседание прерывается.

Тихо и молча идут члены Рады в кулуары, где должна состояться панихида. У многих из них на глазах блещат слезы. На панихиде присутствуют: председатель правительства П. И. Курганский, член правительства по внутренним делам К. А. Безкровный и член правительства по делам здравоохранения В. М. Привалов. В продолжении службы постепенно прибывает все больше публики. Панихида кончилась. Так же скорбно и тихо расходятся депутаты и публика.

В зале заседаний какая то странная, необычная тишина. Нет обычно оживленно беседующих групп депутатов, каждый отдельно молча сидит на своем месте. Весть об убийстве, видимо, уже облетела весь город и взволновала население; во время заседания на хорах, не переставая, прибывает публика и к концу заседания настолько переполняет хоры, что приставы запрещают вход на них, и огромное количество публики остается вне здания Рады.

На всем заседании отпечатлелся знак глубокой скорби, охватившей Раду. Он сказался в какой то особой краткости и сдержанности речей, в их тоне, голосах депутатов...

В ложе правительства — председатель правительства П. И. Курганский, управляющий ведомством внутренних дел К. А. Безкровный и управляющий ведомством здравоохранения В. М. Привалов. Председательствует Султан Шахим Гирей.

Открывая заседание, заместитель председателя Законодательной Рады, Султан Шахим Гирей говорит: Сегодня в 12 ч. дня я получил из Ростова телеграмму, что председатель Краевой Рады Н. С. Рябовол убит.

Председатель оглашает... первые известия об убийстве, которые были сообщены в 2 ч. дня председателю правительства делегатами Рады на Южно-Русской конференции И. Л. Макаренко и Ю. А. Коробинным, выехавшими в Ростов вместе с покойным Н. С. Рябоволом. Далее председатель говорит, что заседание, по его мнению, должно ограничиться лишь выборами делегации в Ростов для сопровождения тела и выборами комиссии, которая должна принять на себя организацию похорон, встречи тела здесь и т. д. По моему мнению, говорит он, — сегодня не следует, в силу вполне понятных причин, устраивать специального заседания, посвященного памяти убиенного Николая Степановича. Такое заседание мы устроим впоследствии, когда многое выяснится и когда пройдет первая острая боль нашего горя, когда мы все станем несколько спокойнее.

После речи председательствующего выступает С. Ф. Манжула, говорящий, что он вполне присоединяется к предложению Султан Шахим Гирей о необходимости ограничиться в сегодняшнем заседании лишь необходимыми делами.

Не стоит нам в настоящее время говорить, да и о чем говорить, — все слишком ясно! — восклицает оратор. Он предлагает избрать трех членов в делегацию для проводов тела из Ростова в Екатеринодар и от трех до пяти человек — в комиссию по организации похорон.

Ф. К. Воропинов говорит, что момент настолько трагичен, что язык сковывается и не может, не в силах произнести оценку происшедшего. От имени Кавказского отдела он предлагает поручить правительству распорядиться, чтобы повсюду, во всех станицах в это воскресенье были отслужены панихиды по убиенному, дабы все население смогло принять участие в оценке злодеяния. Кроме того, я полагаю необходимым, чтобы все войсковые части, — я говорю с полным сознанием ответственности за свои слова, — расположенные как в тылу, так и на фронте приняли бы участие в этом всенародном молении. Поэтому от имени Кавказского отдела предлагаю Раде просить Войскового Атамана, чтобы он приказал отслужить во всех наших фронтовых и тыловых воинских частях панихиды.

Д. Н. Гудзь, присоединяясь к предложению Воропинова, предлагает сегодня же вынести постановление о том, чтобы похороны убитого были приняты на краевой счет.

И. А. Билый предлагает просить Войскового Атамана разрешить всем кубанским войсковым частям прислать своих представителей на похороны первого гражданина и первого казака, председателя Краевой Рады Н. С. Рябовола.

Г. В. Омельченко говорит, что потеря такого истинного борца за народоправство настолько огромна, что Рада должна отметить ее постановлением о наложении 3-х дневного траура на население.

Ф. К. Воропинов разъясняет, что формой выявления такого траура должно быть закрытие на три дня всех увеселений.

Все эти предложения молча и единогласно принимаются Радой.

На трибуну всходит В. С. Жук, объявляющий: Я говорю совершенно сознательно и от своего имени и предлагаю — все газеты, которые занимались гнусной систематической травлей Н. С. Рябовола, немедленно закрыть, а редакторов их выслать из пределов Кубанского края.

Едва Жук успел закончить свое предложение, как происходит нечто совершенно исключительное. Переполнившие сверх всякой меры хоры казаки покрывают последние слова его бурей бешенных аплодисментов, криками ура, браво, заражающих и Раду, которая тоже начинает аплодировать. Весь этот взрыв накопивших чувств длится несколько минут, и председатель совершенно не в силах восстановить тишину.

Когда зал несколько успокаивается, на трибуну выходит И. А. Билый, который говорит: Я предлагаю поручить Кубанскому Краевому Правительству немедленно закрыть все организации, которые на нашей территории занимаются провокацией и травлей кубанского казачества и его лучших представителей и особенно одну, которая сделала в этом отношении больше всех. Вы все отлично понимаете, о чем я говорю. И, отчеканивая каждую букву, И. А. Билый говорит: Это — осваг.

Эти слова вызывают еще больший взрыв возгласов и аплодисментов и на хорах, и в зале заседаний.

Е. Д. Прихидько рассказывает, что он только что вернулся из поездки по Ейскому отделу и везде, во всех станицах буквально на всех заборах он видел расклеенную предательскую газету „Свободный Казак“. Это вызывает негодование и возмущение и это долго не будет терпеться. Ко мне приходили казаки, представители частей, и говорили, что нам нужно принять меры; они говорили: „Чего вы не возьмете к себе в Екатеринодар верную войсковую часть? Ведь вас там всех перевешают“. Довольно мы терпели у себя осваги, развращающие и растлевающие наше население. У нас нет большевиизма, и им здесь делать нечего. Пусть идут туда, где они нужны, — в Совдепию. (Бурные аплодисменты).

В. С. Жук предлагает сместить, арестовать и предать суду всех должностных лиц, которые своею деятельностью подготовили почву для этого убийства. В Екатеринодар надо ввести надежный гарнизон.

Горячую, дышащую огромным чувством речь произносит С. Ф. Манжула. Часто в его голосе слышатся слезы.

Когда я взял слово в первый раз, — говорит он, — предложив заняться только самыми необходимыми делами, я это сделал только потому, что думал, что душа убитого витает над нами, и сейчас не место еще обсуждать все происшедшее. Но казачья душа не выдержала. Очевидно кровь убитого Н. С., кровь великого казака вопиет. Я не требую лить кровь за кровь, но я спрашиваю, доколе мы будем терпеть поношение и травлю наших лучших людей? Ведь это же недопустимо, чтобы по городу расхаживал выращенный нашими деньгами Карташов и б. м. злорадствовал и потирал руки. Это нужно прекратить. Их нужно всех отсюда удалить, всех этих безответственных проходимцев, устраивающих пир во время чумы. Они наглы, и они над всем смеялись, над всем надругались, все оплевывают, все, что нам дорого. В то время, когда наши матери посылают своих детей на фронт, наши дети льют там свою кровь, они, спрятавшись за их спины, работают на славу по поговорке: клеветчи, клеветчи, — что-нибудь да останется. Необходимо немедленно очистить нашу столицу от этой накипи, эту грязную пенку надо выбросить, ее больше быть не должно. До-

вольно мы уже терпели, чаша терпения переполнилась. Думаю, что мы сейчас все едины, что сейчас нет ни той, ни другой стороны, а единая в выявлении воли своей Рада. Ибо личность Рябовола была всеми нами чтима, для всех светла и чиста. Убийство его — это покушение на народоправство, это удар в спину великому делу освобождения. Мы будем единодушны, ибо иначе избравшие нас перестанут нас понимать. Я предлагаю — газеты, травившие Н. С. Рябовола, занимавшиеся газетной провокацией по отношению к Краю и к высшим его установлениям, закрыть, редакторов неуроженцев Кубани выслать за пределы Края, а казаков отправить на фронт, там доказывать свои патриотические чувства. Всех этих наглых проходимцев изъять, — арестовать и предать суду. И чтобы никогда ни в одной станице не было этих свободных и от всякой морали газет.

Председатель оглашает поступивший к нему письменный протест совета профессиональных союзов против убийства. Уполномоченные сов. проф. союзов заявляют свой протест против предательского убийства председателя Краевой Рады и в день похорон объявляют всеобщую забастовку.

Председатель оглашает результаты выборов делегации Рады в Ростов для проводов тела и в комиссию по устройству похорон. Выбраны делегатами в Ростов: В. С. Жук, Т. М. Пироженко, М. А. Трошенко, П. А. Авдеев и М. Гагагогу, в комиссию, — П. Л. Макаренко, Г. В. Омельченко и С. Ф. Манжула.

Затем председатель объявляет, что уполномоченные совета профессиональных союзов просят разрешить выступить им, чтобы лично выразить свой протест, для чего объявляет пленарное заседание Законодательной Рады закрытым и открывает частное совещание.

Слово дается уполномоченному делегации совета проф. союзов А. П. Зимионко. Совет проф. союзов, — говорит он, — возмущенно протестует против предательского выстрела из-за угла в спину председателя Краевой Рады. Рабочий класс знал Н. С. Рябовола, как стойкого и честного защитника демократии и прав трудящихся. Рабочий класс борется смело и решительно со своими врагами, но борется открыто и прямо и проклинает гнусного убийцу из-за угла. Рабочий класс в знак всей глубины своего возмущения и протеста объявляет всеобщую забастовку всего, кроме воды, даже света не будет в этот день. И для того, чтобы те, кто быть может радуется гнусному злодеянию, провели бы этот день в темноте и не смогли бы веселиться, Совет проф. союзов призывает рабочих гор. Екатеринодара принять участие в похоронах Н. С. Рябовола. (Весь зал и хоры разражаются бурными аплодисментами).

Заседание закрывается, но депутаты и публика долго не расходятся. Возле здания Рады долго еще стоит толпа казаков, живо обсуждающая все происшедшее...

А. Ленивов.

Аграханские казаки.

(Исторический очерк).

1. Аграханское вольное казачье Войско.

Основателями Аграханского вольного Войска являются донские казаки, ушедшие с территории Дона в 1688 и 1692 г. г. на р. Аграхань и Куму под водительством станичного атамана одного из донских верховых городков Петра Мурзенока и раскольничих попов, старцев Досифея, Пафнутия и Феодосия.

80-ые года XVII века знаменуют собой тяжелую эпоху, весьма чреватую своими последствиями для Донского Войска, как в социально-экономическом, так и религиозно-политическом отношении.

Нововведения патриарха Никона (троеперстное крестное знамение, литургия на 7 просфорах, хождение против солнца при венчании и крещении), наступивший вслед за этим церковный раскол, вызвали сильный религиозный протест не только в России, но и на Дону.

В 1672 году на Дону появляется беглый монах из Московского государства, по имени Иов Тимофеев, который и основывает по р. Чиру мужской и женский старообрядческие скиты; приблизительно в это же самое время появляются беглые раскольники и на р. Хопре, Медведице и Б. Калитва. Численность этих религиозных эмигрантов из Московской Руси, каковыми являлись раскольники осевшие, по указанным выше донским рекам, в начале выражавшаяся в виде незначительной цифры, начинает быстро расти с того момента, когда становится известным, что раскольники встречаются со стороны донских казаков радушие и ласку.

Постановление церковного собора от 1681 года, способствовало в значительной мере увеличению бегства большого числа раскольников из пределов Московского государства на Дон. Жестокое преследование раскольников со стороны Московских властей, сделало

из них мучеников за веру в глазах казаков, окружив их известным ореолом подвижничества. Надо отметить, что донское казачество в громадном своем большинстве сочувствовало и поддерживало раскольников в защите основ уклада старой веры. Стремление к введению на Дону никоновских реформ, являлось посягательством на религиозный быт казачества, ибо донская церковь по своему существу и основе была автокефальной и совершенно независимой, как от всероссийского патриарха, так и московского митрополита, напр.: ни тот, ни другой не поминались в казачьих церквях.

Москва, преследуя раскольников, усматривала в них не только противное церковное начало, именно религиозное разномыслие, но и политически-враждебную силу; сообразно последнему обстоятельству, все раскольники, бежавшие из пределов Московского государства на Дон, рассматривались московскими властями, как политические враги. Поэтому вполне будет понятным и то, что Москва, требовавшая выдачи с Дона раскольников для суда, встретила в их лице враждебно-оппозиционный элемент не только в религиозном отношении, но уже и в политическом отношении... Московский религиозный кризис известным образом начинал сказываться и на политических тенденциях и настроениях донского казачества. Раскольники, прийдя на Дон и обретши здесь приют, как политические эмигранты из Московского государства, нашли не только убежище, но и покровительство и защиту в лице образовавшейся в среде донского казачества „партии независимости“, которая еще имела и иное наименование „раскольничья партия“, именно за свое блажелательное отношение к раскольникам. Во главе этой партии стояли — б. Войсковой Атаман Самойло Лаврентьев, старшина Кирей Чюрносков, Кузьма Косой и др. Личный состав „партии независимости“ подобрался из рядов голутвенного казачества — „голытьбы“, горячо отстаивавшей не только свободу старого обряда (веры), но и защищавшей основы Донской независимости, хранившей заветы донских вольностей, ненавидевшей от всей души московские порядки. Тенденция донской „партии независимости“ шли далеко — голытьба готова была перейти в нападение против Москвы; еще в 1675 году на Дону среди казаков раздавались угрозы „если государь пришлет на Дон рать большую, то мы замирились с Азовом и поднимем Крым“. Политические устремления вождей партии независимости выражались еще в более конкретной форме — „куда же нам идти на Крымского, надобно де тут первое отчистить; лучше де ныне Крымский хан, нежели наши цари на Москве“.

Нахождение донской голытьбы в рядах „партии независимости“ резко обозначило выявление социального антагонизма во всех слоях донского казачества, главным образом в смысле подбора личного состава т. н. московской партии, иначе называвшейся еще на Дону и „старшинской“. Старшинская партия состояла главным образом из богатых казаков, людей с известным авторитетом в силу или своего прошлого или настоящего. В религиозном отношении эта партия являлась проводником и защитницей нововведений патриарха Никона; в политическом же значении старшинская партия тянула к Москве, приглаждавшей к развращающимся событиям на Дону. На Войсковом Кругу шла резкая борьба обеих партий, приведшая в конце концов к кровавому финалу. Религиозный протест в защиту основ обрядности старой веры, приняв явно политический характер и окраску определенного оттенка: на Дону побеждало течение в пользу отделения от Московской Руси. Вождь Донской „партии независимости“ старшина Кирей Чюрносков рассылая „письма свои на Еик и на Терек, чтобы не слушали ни царей, ни патриархов, но крепко держались за веру старую. Аще-ли будет на нас какой опал с Москвы, вы к нам тогда придите, станут де за нас и многие орды и калмыки“. Ближайший его помощник Кузьма Косой прямо призывал донских казаков идти на Москву.

В 1681 году войсковой Атаман Самойло Лаврентьев разрешил попу Самойле богослужение по старым книгам в Черкасском соборе св. Воскресения и закрепил эту меру постановлением Войскового Круга. Этот акт в связи с некоторыми другими был истолкован Москвой,

как активное выступление против нее. Надо отметить, что и на самом деле это было так, ибо главный вождь донских казаков-раскольников, Кирей Чюрносков, открыто готовил силы для похода на Москву. Сообразуясь с создающейся обстановкой, Москва в 1687 году категорически потребовала выдачи вождей „партии независимости“. И старинный обычай „с Дона выдачи нет“ был нарушен, казачество выдало на расправу в Москву б. Войскового Атамана Самойлу Лаврентьева. Другой главный вождь донских казаков-раскольников, Кирей Чюрносков, находившийся в Москве во главе Донской Зимовой станицы, был непосредственно схвачен московскими властями. 10 мая 1688 года на Красной площади в Москве была совершена публичная казнь вождей раскольничьей партии на Дону; одновременно с этим, из Москвы было дано указание на Дон о разгроме и самой раскольничьей партии.

Во исполнение этого, из Главного Войска Донского был выслан сильный отряд в верхние городки для разгрома и уничтожения существовавших на местах раскольничьих скитов. Это предприятие кончилось полнейшей неудачей, ибо этот отряд натолкнулся на сильнейшее сопротивление не старообрядцев — московских раскольников, а организованной массы верховых (по течению р. Дона) казаков, раздраженных и без того пребыванием на Дону царских войск.

Из Москвы последовало вторичное приказание о разгроме раскольников на Дону, на этот раз уже в ультимативной форме: московская угроза подействовала на донскую старшину, ибо 14 августа 1688 года из Черкасского городка была послана повторная экспедиция для разгрома раскольничьего ядра на р. Медведице. Помимо сильного отряда низовых казаков, в состав этой экспедиции вошли и калмыцкие отряды хана Чагак-Батырь-Тайши. Полный успех содействовал замыслам этой экспедиции, Медведицкий городок был разгромлен до тла, раскольничьи скиты в лесах ниже и выше этого городка, по течению р. Медведицы — разрушены; видные руководители донских раскольников — Атаман Иван Заяц, Семен Расюнин, Семен Понилин, Семен Колодин и др. были схвачены и представлены в Черкасский городок. Представители московской эмиграции — попы разстриги, монахи, всякие старцы и старицы, скрывавшиеся в Медведицких лесах, были пойманы, или разбежались, или присоединились к тем 1500 верховых казаков, которые, организовавшись под военным главенством Петра Мурзенова, атамана одного из верховых городков, и имея во главе своих раскольничьих архипастырей — чернецов Досифея, Пафнутия и Феодосия, решили оставить территорию Дона. Эта-то группа казаков, покинувших Дон и решивших идти на Куму к Шамхалу Кабардинскому, и является основательницей Аграханского вольного Войска. Помимо этой группы менее значительное число казаков-раскольников бежало в Азов, бывший тогда турецким.

Донская религиозно-политическая эмиграция, появившись на р. р. Аграхани и Куме, не расплылась, а наоборот преобразовалась в более компактную массу, приняв вид войсковой организации в виде Аграханского вольного Войска. Поселившись на территории „Шевкала“ (Шамхала) Кабардинского, донские казаки-эмигранты создав Аграханское вольное Войско, *vollens-nolens* должны были принять подданство турецкого султана, властелина кавказских земель, и в последующее время существования Войска, пребывать по отношению к нему (султану) в состоянии вассалитета. Соседями донских казаков, осевших на р. Аграхани, явились с одной стороны гребенские казаки, с другой кавказские горцы. В лице первых — доныч встретили полное сочувствие и поддержку, в лице же последних (горцев), через небольшой промежуток времени они приобрели себе заклятых врагов, следствие агитации московских агентов на местах. Проявление вассальной зависимости аграханских казаков от Турции выразилось главным образом в установлении вполне лояльных взаимоотношений между турецкими властями, с одной стороны, и казаками, с другой.

Аграханские казаки по все время своего пребывания на р. Аграхани, сохраняли свое войсковое устройство, имели выборного Войскового Атамана, Войсковой

Круг и т. д. В религиозном отношении со стороны турецкого султана была проявлена полная веротерпимость. В одной из грамот, дошедших до нашего времени, Войсковой Атаман Аграханского вольного Войска на упрек Московского царя о зависимости Аграханского Войска от турок, пишет, что турецкий султан не преследует христианской религии, хотя он и басурманин. В отместку за все плохое, сделанное по отношению к ним (донским казакам — раскольникам), Атаман Аграханского войска угрожает „тряхнуть“ казаками, приверженцами Москвы. Терский Атаман Иван Кухля, оказывая всяческую поддержку аграханским казакам, оказал им большую услугу в смысле закрепления на местах, а также содействовал им в установлении добрых взаимоотношений с окружающими горами.

Обосновавшись на р. Аграхани (Сулак), Доно-Аграханские казаки не прерывали связи с Доном, засылая туда постоянно „подметные“ письма с приглашением донских казаков к себе на р.р. Аграхань и Куму. Эти письма, описывающие условия жизни и пребывание Аграханских казаков на территории Шамхала Кабардинского, имели известный успех на Дону. Одновременно с этим, аграханские казаки готовились к отмщению. Так, Петр Мурзенок, игравший видную роль в Аграханском Войске, грозился возвратиться на Дон и у „войсковых старшин головы резать, бородами связывать и через якоры вешать“. Не ограничиваясь вышеуказанным, аграханские казаки в своих стремлениях шли много дальше, именно они обнаруживали тенденцию согнать донских казаков с территории Дона и занять оную, основать свое Войско, которое, как и Аграханское, находилось бы в состоянии вассалитета от Турции. В 1690 году турки из Азова, по просьбе аграханских казаков, снарядили экспедицию на Дон и разорили солеварни у г. Тора, находившегося у устья р. Тора.

Время, после ухода донских казаков-раскольников на р.р. Аграхань и Куму, протекло весьма тревожно на Дону; донская старшина, подняв голову с поражением раскольничьей партии, самовластно правила Доном, опираясь исключительно на поддержку Москвы. Не взирая на это, существование Аграханского Войска им было не по душе и донские старшины находили в себе достаточно силы воли, чтобы протестовать перед царем против дальнейшей выдачи казаков-раскольников с Дона на расправу в Москву, заявляя, что если подобное состояние будет продолжаться и далее, то тогда „врагов изменников и дураков явится у них много... туда же в погибель к раскольникам пойдут“. Несмотря на это, в 1692 году, значительная группа (1000 чел.) донских казаков-раскольников, оставив родную землю, вследствие гнета и преследований со стороны властей, снова ушла на р.р. Аграхань и Куму, где и влилась в состав Аграханского Войска.

Приход новой эмиграции переполнил чашу терпения аграханских казаков и толкнул их на активное выступление против Донского Войска.

В 1693 году, большой конный отряд аграханских казаков, снаряженный при помощи турок, совершив громадный по своей дальности переход из Сулакского района на Дон, сделал нападение на казачьи городки по течению среднего Дона и отчасти их разорил, причем особенно плохо пришлось старшине. Набег аграханцев на Дон вызвал репрессии со стороны Москвы, пославшей на Терек многочисленные войска для уничтожения Аграханского Войска. Подобное обременение, а также взаимоотношения с кавказскими горами, заставили Аграханское Войско в полном составе покинуть насиженные места и перебраться вглубь кабардинских владений.

Здесь, в Кабарде, в среде казаков начались трения, которые и привели к открытому разрыву между двумя враждовавшими группами: часть аграханских казаков, оставаясь некоторое время на местах в Кабарде, впоследствии примкнула к Гребенцам и переселилась с ними из-за Сунжи на левый берег р. Терека. Другая же, более значительная часть аграханцев поднялась на Кубань, где и осела главным своим ядром, заложив ряд городков, располагавшихся по линии от устья р. Лабы до берегов Черного моря.

Обосновавшись на Кубани, аграханские казаки на первых парах своего пребывания в новом крае, не сумели облечь основы своего существования в определенные рамки применительно к формам государственного масштаба, именно в виде структуры войсковой организации, утраченной ими в момент своего пребывания в Кабарде и восстановленной ими лишь на Кубани в 1710 году в виде Великого Войска Кубанского, образовавшегося после появления на Кубани новых политических эмигрантов, казаков Донского, Волжского и Запорожского Войск. В юридическом отношении, военно-хозяйственное сообщество аграханских казаков поселившихся на Кубани, представляло собой лишь общину, образовавшуюся из вольных казаков, общину составившуюся по принципу естественного подбора. Замечательным фактом является то, что на Аграхани казакам были дарованы турецким султаном не только земли, но и известные права (конституция) в силу коих Аграханское Войско во весь период своего существования, хотя и пребывало в состоянии вассалитета от турецкого султана, но тем не менее продолжало сохранять за собой изветсную автономию.

Диаметрально-противоположное явление можно наблюдать в отношении тех же аграханских казаков в первые годы их пребывания на Кубани. Земли выбранные ими для поселения, были получены ими не по праву дарственности, а исключительно в силу захватного права, права силы оружия. В силу этого, аграханские казаки в последующие моменты, именно до времени точного определения их взаимоотношений с властелином Кубанского Края — турецким султаном, сумели сохранить за образованной ими вольной общиной на Кубани основы полной самостоятельности, не завися ни от кого.

Отсутствие определенной территории и отсутствие прерогатив государственной власти в виде административных органов управления, служит формальным обоснованием в смысле детального определения основ существования военно-хозяйственного сообщества аграханских казаков на Кубани, как сожителства индивидуумов на основах общинного порядка. Зачаточное развитие основ государственного и гражданского права в среде общины аграханских казаков, существенным образом влияло на то, что эта община до 1710 года не являла во внешних формах своего общественного развития признаков государственного образования (организма). Не взирая на это обременение, община эта утратила свое старое наименование (аграханские казаки), обрела новое наименование и укоренив его за собой в последующий период истории — Кубские или Кубанские казаки.

На переход аграханских казаков с Терека на Кубань, турецкие власти посмотрели не особенно благожелательно, но это только в самом начале, далее же, когда они сорганизовались в общину, окрепли и начали развиваться, турки уже начали смотреть иными глазами, сменив свое отрицательное отношение на покровительственное. В частности, решающее значение в перемене курса политики сыграли последние неудачи турок в борьбе против русских, именно первый и второй азовские походы Петра I, совершенные им в 1695 и 1696 гг. — Как известно из истории, результатом этих походов явилось падение крепости Азова от 20 июля 1696 г. Переход этого крайне важного в стратегическом отношении опорного пункта турецкого владычества на Азовском море, заставил турецкий султан обратить известное внимание и на нарождающуюся на Кубани общину вольных казаков, ярых противников, как Москвы, так и Войска Донского.

Идея единства национального, политического и религиозного, мощная поддержка турецкого султана и ханаата, наместника первого (султана) в Крымском Крае, сыграла решающую роль в том, что община вольных кубанских (аграханских) казаков смогла в небольшой период времени (1703—1709 гг.) преобразоваться в могущественное Великое Войско Кубанское.

Проследив развитие Аграханского вольного Войска во всех его этапах, вплоть до момента образования общины вольных кубанских казаков, приходим к следующим выводам:

1) Церковный раскол в Московской Руси, вызвал эхо на Дону не только в форме религиозного протеста, но и проявление политических тенденций ярко выраженного сепаратистического характера, выразившихся в стремлении донских казаков (известной части) отложиться от Московского государства.

2) Разгром раскольников городков и поражение „партии независимости“ вызвали уход донских сепаратистов (раскольников) в эмиграцию.

3) Аграханские (донские) казаки, заручившись поддержкой Турции, продолжали во все время своего бытия, бороться за осуществление своих идеалов, как против Войска Донского, так и против Московского государства.

4) Временные неудачи в борьбе против русских войск, вызвали разрушение войсковой организации аграханских казаков, но и способствовали организации общины вольных кубанских казаков, прообраза будущего Великого Войска Кубанского.

II. Аграханское служилое казачье Войско:

История Аграханского служилого войска абсолютно разнится от истории Аграханского вольного Войска, в частности уже по одному тому, что второе Войско образовано в порядке добровольном, политическими эмигрантами с Дона — донскими казаками-раскольни-

ками, между тем как первое войско (служилое) сформировано в порядке императивном (вынужденном) переселенцами с Дона — донскими казаками, по назначению имперской власти. Надо отметить, что оба войска — Аграханское вольное и Аграханское служилое, имеют весьма небольшую разницу по времени образования, именно даты 1703 и 1722 годов.

Сформирование Аграханского служилого казачьего Войска относится к 1722 г., когда терские казаки расселенные в районе кр. Терки, вследствие уничтожения оной, были переведены к кр. Святого Креста, лежащей по р. Аграхани и там поселены. В 1724 году по повелению Петра I, Круг Войска Донского учинил наряд на переселение тысячи семейств донских казаков на р. Аграхань для увеличения личного состава незадолго (1722 г.) перед этим образованного Аграханского войска. Участие в походах русских войск против кавказских горцев привело почти к физическому уничтожению войска, остатки коего (до 400 семейств) были переведены к г. Кизляру, образовав там совместно с горцами и кумыками Терское Кизлярское Войско.

Памятниками свидетельствующими о большой численности Аграханского служилого казачьего войска, являются сохраняющиеся в относительной сохранности развалины древних казачьих городков, разбросанные по степям Ногайской плоскости, лежащей на берегу Аграханского залива, образуемого Каспийским морем.

Шамба Балинов.

Чем было Казачество.

(Продолжение).

В последнюю четверть XIV и в начале XV ст. население Подонья, т. е. донские казаки, пережили тяжелые времена, большие народные несчастья. Началось это несчастье со времени Куликовской битвы в 1380 г., когда казаки стали на сторону объединенных войск князей Юго-Западной и Северо-Восточной Руси и способствовали поражению Мамай. Толкнуло же казаков к такому шагу стремление освободиться от власти татар. Такой их шаг снова свидетельствует, что казаки, несмотря на полуторавековое владычество татар-монголов, сохранились как особый народ, сохранили свою самобытность, свое сознание, волю к свободе, и, самое главное, сохранили свое право и возможность — свободно выбирать себе военных и политических союзников. К этому шагу толкнула казаков еще и религиозная нетерпимость татар к христианам, когда прежняя монгольская широкая веротерпимость была заменена мусульманским фанатизмом.

В течение этого периода времени (конец XIV и начало XV века) территория Казаккии последовательно подверглась нашествию новых и грозных завоевателей — Тахтамыша и Тамерлана. Русские историки как раз на эти события указывают и на основании их утверждают, что после этих погромов от населения Подонья, т. е. донских казаков, ничего не осталось: все, мол, было вырезано, что территория эта в течение почти ста лет пустовала и только к началу XVI ст. на этой территории начали, мол, сбегаться русские крестьяне, которые, мол, и образовали в XVI ст. вольную колонию, Донское Войско.

Если Тахтамыш и Тамерлан действительно вырезали многих казаков, то русские историки, сидя в своих кабинетах, на бумаге „вырезали“ всех остальных казаков и от древнего и славного Донского Казачества ничего не осталось!

Но так ли это? Конечно, нет!

Казаки исчезнуть бесследно не могли. Они хорошо были подготовлены к встрече всяких бедствий, о происходящих и грядущих на Востоке Европы событиях достаточно были осведомлены. Следовательно, заставить казаков врасплох и вырезать их всех не мог никакой хитроумный враг.

Наоборот, достоверно, известно, что, когда нагрянули грозные события, большая часть Донских казаков в самом конце XIV ст. переселилась на север, в преде-

лы лесной полосы, в непосредственное соседство с Московским и Рязанским княжествами, на окраины и пределы их. Часть же казаков сохранилась в низовьях Дона, поступив на службу возобновленного в 1400 году генуэзцами города Азова (а после захвата его в 1471 году турками и к этим последним), получив название азовских казаков; часть же казаков поступила на службу генуэзских городов в Крыму; но часть казаков все же осталась на своих старых местах, на родной земле, забравшись в глухие, малодоступные места.

О том, что часть казаков нигде не уходила, и не была вырезана Тамерланом, а продолжала жить на своей древней родине, свидетельствует и генуэзец Барбаро, долго живший в Азове, который в 1436 году писал, что „в Приазовьи живет народ, называемый азака-казак, говорящий славяно-татарским языком“. Замечательное свидетельство: казаки говорили на славяно-татарском языке, т. е. на своем донском, казачьем наречии!

И совершенно естественно, что как раз с этого времени становятся широко известными „азовские“, „генуэзские“, „рязанские“, „московские“ и т. д. казаки, поступающие на службу, ищущие работу, „батраки“, как их называют некоторые русские историки, как и сейчас у нас имеются „парижские“, „болгарские“, „сербские“ и т. д. казаки.

То были первые казачьи эмигранты конца XIV и начала XV ст., как и мы сейчас являемся казаками-эмигрантами XX века, изгнанные чужими завоевателями из своей казачьей хаты и вынужденные считаться по чужбине; эти далекие казачьи предки, вынужденные эмигрировать, искали службу, работу, „батрачествовали“, как это делаем сейчас и мы, казаки-эмигранты; как и мы сейчас страстно желаем возвращения на Родину, так и те первые казачьи эмигранты рвались домой и при первой возможности возвращались в свою родную страну, к тем, которые там еще оставались. Несмотря на запретительные меры московских князей, возвращение казачьей эмиграции на Родину продолжалось в XV и в начале XVI века.

Их то русские историки и выдавали за беглых русских крестьян!

Конечно, не все казачьи эмигранты вернулись из пределов Московского царства на свою Родину. Часть казаков там осталась и послужила основанием так на-

зывается служилого, „городового“, „сторожевого“, „поместного“ казачества, которое уже ничего общего не имело с Вольным Казачеством, утратив, под влиянием московской деспотии, свою любовь к свободе и воле, превратившись с течением времени в служилое сословие.

В первой половине XVI в. оставшиеся на Дону и вернувшиеся из пределов Московского царства Донские казаки, объединившись, на древних казачьих началах, по казачьему древнему обыкновению, создают, укрепляют и развивают тот общественно-государственный организм, который позже будет называться республикой Вольного Казачества, существование которой уже ни в ком не вызывает никакого сомнения.

В такую стройную, логически-последовательную систему вкладывают казачьи историки, в полном согласии с объективными иностранными исследователями, происхождение, рост и развитие Донского Казачества, многовековую историю его.

Казаки — особый народ, происшедший из смешения и долгого совместного сожительства на определенной территории славяно-русов с тюрко-казахами.

— „Смешение казахов (черкасов) с Кавказа и вообще тюркских народностей (печенегов, торков, половцев) с русами в Поднепровью привело к образованию особой народности — поднепровских черкасов, из которых, главным образом, и образовалось Запорожское Войско, этнически слившееся большей своей частью с украинским народом, передавшим свое название и особый характер и бытовые особенности поднепровской части населения Украины...

— „Смешение казахов с славяно-русами Подонскими и Приазовскими (Казакии) привело к образованию особой бродницкой народности, которая получила в системе Золотой Орды государственное, военно-служилое положение и значение Казачества. Эта народность усвоила название казаков, как этническое...

— „Смешение казахов (черкасов) кавказских с киргизами повело к образованию особой киргиз-казацкой народности, особого народного организма“, — говорит Быкадоров в своем историческом труде „История Казачества“.

О том, что из себя представляло Донское Казачество с первой половины XVI ст., какую общественно-государственную жизнь оно жило до начала XVIII ст., т. е. до момента жестокой, чудовищной расправы с Донским Казачеством, учиненной Петром I, мы все достаточно хорошо знаем. С этого момента казачья история довольно хорошо освещена разными историками, и казачьи и не казачьи.

Чтобы много не распространяться в этой части своего сообщения, я ограничусь лишь приведением выдержек из исторических трудов компетентных людей.

— „Войско Донское не было результатом царского повеления или правительственной деятельности, оно не было провинцией или колонией царства. Войско Донское было народной колонией, вольной и независимой. Оно было государством, а не провинцией... Государственная власть на Дону имела своим источником народную волю, и донская колония представляла из себя республику. Суверенная верховная власть в Донской республике принадлежала общему народному собранию, носившему название Круга или Войскового Круга“.

Так определенно и категорически говорит проф. Сватиков.

Даже в царских грамотах, — продолжает тот же профессор Сватиков, — „Державный народ Дона поминается всегда впереди его выборного Атамана... Круг был верховным органом народной воли. Ни один из органов власти исполнительной не смел действовать в мало-мальски важном деле без „войскового совету и приказу“, т. е. без приговора Круга... Итак, в период 1549-1721 г. Донской Войскового Круг был народным собранием непосредственной Демократической Республики, единой нераздельной“. „Донское Войско

представляло из себя в XVI-XVII ст. военно-демократическую республику. Эта республика была особым, отдельным от Московского царства, государством, имела свою территорию, свой народ и свою власть... Народ Дона составляли Донские казаки, свободные граждане Донской республики“... — Так говорит тот же пр. Сватиков в другом месте.

Правда, Сватиков говорит, что „Войско Донское было вольной колонией русского народа, основанной донскими казаками“. Ну, а кто такие были по своему происхождению донские казаки — мы видели из исследований других историков. Нам важно его категорическое утверждение, что Донское Казачество представляло из себя отдельное от Московского царства государство, суверенная власть в котором принадлежала народу — донским казакам.

— „С 1546 года и вплоть до 1671 г. Донское Войско являлось независимым государством. Эта независимость Донского Войска, согласно исторических данных, выражалась не только в наличии своей территории, власти и народа, но и в независимости власти, в независимости дипломатических сношений с соседними народами и государствами, в полной независимости от открытия войны, ведения ее и заключения мира, в наличии своих интересов, в своем понимании их“, — говорит Быкадоров.

— „Казачество особый народ... История Казачества под любым углом зрения, только не под российским, показывает, что органической связи казачьего народа с великорусским народом, Казачьих Земель с Великой Россией никогда не было“, — говорит тот же Быкадоров в другом месте.

Одним словом, Казачество, по свидетельству объективных исследователей, народ, который ведет свое начало еще с VII ст. Формировался, развивался и укреплялся в течение многих веков, входя в состав различных степных государств. Это развитие и укрепление особенно сильным было в период монгольского владычества. В конце XIV и в начале XV ст. (после распада Золотой Орды) Казачество пережило самые большие национальные бедствия, но к XVI веку снова оправилось и с тех пор до начала XVIII ст., когда Петр I разгромил его, жило особой самостоятельной государственной жизнью, форма которой подходила под современный республиканский строй, от начала и до самых верхов государственной лестницы проникнутый выборными началами. Некоторые казачьи историки в наличии такой государственной системы в Казачестве видят лишнее доказательство несостоятельности теории происхождения казаков от беглых московских крестьян.

Так представляется нам зарождение Казачества, его рост и развитие, общественно-государственная жизнь, как нам рисуют объективные историки, исследователи, внимательно изучившие казачье прошлое.

Вот чем было, чем являлось Казачество до начала XVIII ст., т. е. до 1721 года (формально), когда естественное его дальнейшее развитие было прекращено грубой физической силой, когда Казачество пережило страшную национальную трагедию, когда десятки тысяч казаков по жестокому повелению Петра I были умышленно и Седой Дон был залит потоками казачьей крови.

„Реки крови и слез, горя и страданий сопровождают конец Казачьей волиницы“. — Пишет даже один советский историк „Каз-ва“ (И. Ульянов).

С этого момента казачья жизнь пошла по другому руслу, Казачество стало пребывать в атмосфере рабства, деспотии; постепенно, под давлением физической силы и насилия, казачье сознание начало ослабевать, сила его сопротивляемости стала уменьшаться, а, под влиянием искусственной русской истории, некогда прекрасный образ свободолюбивого и вольного казака стал тускнеть, принимать другие очертания и, наконец, дошел до того, что у казаков осталась „слава казачья, а жизнь собачья“.

(Окончание следует).

Павел Кудинов.

Восстание Верхне-Донцов в 1919 году.

(Исторический очерк).

(Окончание).

Красные, несмотря на свою многочисленность, не успели привести в исполнение того, что им было приказано свыше (своим стремительным наступлением уничтожить правобережную группу восставших, не допустив до переправы). Ровно в час дня 12 мая на горизонте правобережной возвышенности показались густые цепи красных, которые с криком „ура!“ бросились громить пустые хутора. Через некоторое время в хуторах расположенных по правой стороне реки Дона взлетали густые клубы дыма и красное пламя с треском пожирало ряд казачьих куреней. Специальные команды красных поджигателей бродили днем и ночью, сжигая все то, что называлось казачьим именем.

14 мая прилетел капитан Иванов, который передал документы оперативного характера и финансовый. Помещаю дословное его содержание:

Начальник штаба Донской армии
13 мая 1919 года.

Командующему Войсками
Верхне-Донского Округа.

На командуемую вами армию отпущено пять миллионов (5.000.000) рублей, которые будут переданы в ваше распоряжение со следующим аэропланом.

Начальник штаба, ген. штаба
генерал Кельчевский.

В действительности же штабом было доставлено 250.000 рублей, а куда исчезла остальная сумма об этом знает один Бог и генерал Сидорин.

Противник, овладев правой стороной реки Дона, сосредоточил ударные группы в пунктах: Обрывская переправа — хутор Пешаков, хутора Базки и Белогорка (Вешенская), с целью отбросить восставших, которые укрепились по левому берегу реки Дона, на север и не дать соединиться с Донской армией, которая вследствие ухода 9-й сов. армии на фронт восставших, успешно продвигалась вперед. Красные, закончив перегруппировку ударных частей, 15 мая перешли в энергичное наступление по всему фронту, а главное на участке 3-й и 4-й дивизий и 1-й бригады и, в то же время, сосредоточили артиллерийский страшный огонь по станции Вешенской. 3-я, 4-я и 5-я дивизии, завязавшие ожесточенный бой с красными, к вечеру 16 мая одержали блестящую победу, разгромив лучшие бригады московских и петроградских курсантов и кронштадские полки матросов, захватив 1200 пленных, броневой автомобиль с приспособленными к нему пушками, три орудия, до 15 пулеметов и пр. Кроме трофеев и пленных, также был взят в плен командир бригады красных курсантов генерал царской службы (фамилия его не помню), который после соединения с генералом Секретевым был передан начальнику штаба генерала Секретева полковнику Калиновскому, т. к. последний узнал в нем своего знакомого по прежней службе.

Части бригады восставших, удерживая переправу „Обрыв“ (через Дон) и не имея ни одного патрона, в упор расстреливались артиллерией красных, орудия которых были поставлены на дистанции одной версты. В ночь под 17 мая застава, которая охраняла упомянутую переправу, была вновь подвергнута артиллерийскому, ружейному и пулеметному огню, и потеряв половину часть своего состава, рассеялся кто куда мог. Красные, взрывая снарядами весь участок, прилегающий к переправе „Обрыв“, к рассвету 17 мая перебросили на левый берег реки Дона полк пехоты, эскадрон конницы при 18 пулеметах и быстро перешли в наступление на станцию Еланскую и хутор Безбородов. Командир бригады, поздно узнавший о гибели заставы, бросил несколько конных сотен, чтобы остановить дальнейшую переправу красных, но было поздно; красные, развернувшись в боевой порядок, густыми цепями двинулись вперед, рассеивая нашу конницу огнем. Части

бригады, за отсутствием патронов оказывая слабое сопротивление, подходили к станции Еланской и хуторам, расположенным по реке Елань. Потеря переправы „Обрыв“ не могла быть допустима, так как это был главный ключ для красных: оттеснить восставших от левого берега реки Дона и не допустить соединиться с Донской армией. Для ликвидации прорвавшегося противника я приказал начальнику 5-й дивизии, немедленно выслать 6 конных сотен, сформированных из хуторов лежащих по реке Еланке, в распоряжение командира 1-й бригады. Прибывшие 6 конных сотен, 17 мая в составе бригады, под общей командой начальника штаба бригады есаула Алферова А. С., лихой конной атакой смяли наступающего противника, который бросился к переправе; бригада, атаковав с фланга, в упор расстреливала красных, в панике перебивавшихся на правую сторону реки Дона и левую сторону реки Хопра. Овладев переправой, бригада захватила: 12 пулеметов, винтовки и 170 пленных. Руководя атакой, есаул Алферов был ранен пулей навзлет.

18 мая красные, под прикрытием артиллерийского огня, открытого из 6 батарей, переправились через Дон у х. Белогорский; конный полк 1-й дивизии, который удерживал колено „Черные рощи“, будучи подвергнут особой силе артиллерийского огня, отошел на уровень Вешенская, где и укренился в заранее приготовленных окопах. Торжествующие красные, овладев достаточно скрытым стратегическим пунктом „Черная роща“, неудержимо ринулись на Вешенскую, где находился главный штаб армии восставших. Лично воодушевляя казаков укренившихся в окопах, я приказал всем:

Бойцам сохранить полное спокойствие, не терять присутствия духа и мужества и враг будет разбит.

Настала мертвая тишина в окопах восставших. Усиленно бились сердца казаков, сжимавших холодные стволы винтовок; блестели в гнездах стволы пулеметов в ожидании наступающего красного врага. Цели красных, поддерживаемые огнем артиллерии, которая немилосердно громила Вешенскую с 2-х верстной дистанции, как червь ползли по займишу, усиленная ружейный и пулеметный огонь. Огонь красных, доведенный до крайнего напряжения настолько был силен, что показаться на улице абсолютно не представлялось возможным. Красные, будучи уверены, что у восставших нет патронов и, подойдя к станции на расстоянии 100 саженей, с диким ревом „ура!“ бросились в атаку, но к своему удивлению натолкнулись на второй Дон (как они кричали: „Товарищи, здесь другой Дон!“). Это было озеро, которое по своей широте и глубине равно Дону. Растерявшиеся красные цепи, столпившиеся над озером, бросились вправо, то влево и ревели что есть мочи: „Казаки, сдавайтесь!“ Как вдруг из мертвых окопов затарахтели пулеметы, защелкали винтовки, поражая оторопевшую красную толпу. Красные, придя в полное замешательство, беспорядочным стадом ринулись обратно к переправе. Части восставших, которые удерживали перешеек между озером и Доном, перешли в энергичное наступление, выйдя во фланг красным слева. Красные, опасаясь быть отрезанными от переправы, в панике бросали винтовки, пулеметы, и бежали к месту переправы. Наскоро созданный красными понтонный мост, не выдержав огромного напора красных солдат, обрушился, увлекая за собою все, что было на его поверхности.

После неудачных переправ, предпринятых красными на участках 1-й дивизии и бригады, красные день и ночь громили артиллерией Вешенскую. Утром 19 мая ко мне в штаб явилась женщина казачка с пакетом в котором было письмо следующего содержания:

„Командующему восставшими казаками.

На ваш фронт переброшена целиком 9-я сов. армия; красная боевая сила увеличилась в два раза. Вы накануне гибели; милость к вам выра-

жаются в нескольких часах; сдавайтесь, пока не поздно, в противном случае вы будете подавлены самыми жестокими мерами красного оружия. Комиссар штаба 9-й армии Бухарцев."

19 мая прилетел капитан Веселовский, который передал, что конная группа генерала Секретева запоздала по той причине, что дойдя до слободы Дегтево была возвращена обратно для ликвидации красных, занявших Миллерово, но сейчас снова движется по тому же направлению и не позже, как дней через 5 будет здесь. Красные, чувствуя приближение конной группы Секретева и чтобы не дать последним возможности соединиться с восставшими, сосредоточили крупные силы с северо-западной стороны: Богучар, Бычок, ст. и н. Криуши и слобода Солонка, с конечной целью отбросить восставших на восток; с южной стороны: хутор Токин, пос. Ясиновка, Грачов, фронтом к западу, с целью выйти во фланг генералу Секретеву и в то же время прикрывать станцию Уст-Медведецкую, как главный пункт на случай отступления.

На рассвете 21 мая красные огромными силами в составе 15 Инзинской пех. дивизии, 3-го московского латышского, 3-го Богучарского пех. полков; сводной бригады Московских и Петроградских курсантов, двух батальонов матросов, несколько карательных отрядов, крестьянских дружин и небольшого количества конницы, повели наступление по всему фронту 3-й и 4-й дивизий на широте 60 верст, соприкасаясь со станцией Акишевской. Разгоревшийся бой носил ожесточенный характер; хутора, расположенные в сфере огня, то и дело переходили из рук в руки; крупнейшие пожары пожирала дома, гумна, дворовые постройки и прочие пожитки. Ожесточенный бой с 21 до 23 включительно проходил с переменным успехом. На 24 мая красная пехота, рассыпавшись во множество густых цепей, энергично наступала по всему фронту 3-й и 4-й дивизий, вклиняясь главным ядром в стык соприкасающихся флангов дивизий восставших, с целью раз'единить последние. Целый день 24 мая 1919 года изогнутая серая волна бойцов, застилаемые густою пылью, сверкая на солнце остриями стальных штыков и шашек с разнообразными криками „Ги!“, „Ура“ бросались то вперед, то назад. Бесперывно ухали пушки красных, с треском разрывались сотни снарядов, точно чечелинный рой жужжали пули. Конница восставших казаков, атакующая наступающих, то сметала цепи красных, то отбитая огнем последних, мчалась назад. Едва красные сомкнули ряды, как из закрытых мест выскакивала свежая конница, опрокидывая последних. Славные пешие полки Березняговский и Казанский, не раз бросались в штыки, останавливая напор красных цепей. К вечеру 24 мая красные отгеснили 3-ю и 4-ю дивизии на восток и заняли хутора Попов и Матюмин и тем прервали связь телеграфную и телефонную между станцией Казанской и хут. Шумилиным (связь 3-й и 4-й дивизий).

С наступлением ночи во всех хуторах, занятых красными, вновь гуляло адское пламя огня и вновь очередные десятки казачьих куреней превращались в груды почерневших развалин. Однако, это страшное нашествие, грабеж и опустошение хуторов, зверское истребление беззащитного населения, не поколебали дух верхне-донцов. В 10 часов вечера 24 мая начальник 5 дивизии донес мне:

„Противник, наступающий на участке моей дивизии, разбит; правый фланг его отброшен за реку Хопер, а левым удерживается станция Федосеевская. Пленных не берем.

Начальник 5 дивизии Ушаков.“

Рано утром 25 мая красные вновь повели энергичное наступление, тесня восставших на восток. Все население занятых хуторов выступило на фронт. К 9 часам утра станцию Казанскую и хутор Шумилин наполовину заняли красные. Отступающие жители, как-то старики, подростки, девушки, женщины (последние переоделись в мужское платье) вместе с казаками выстраивались в боевой порядок на высотах, лежащих сзади передовых позиций. Дударевский конный полк, снятый с участка 5 дивизии, своевременно подошел на помощь 4-й дивизии, которая под убийственным огнем красной артиллерии мужественно отстаивала каждую

пядь земли. Красные, окончательно занявшие хутор Шумилин и отбросившие восставших на высоты, лежащие между хуторами Шумилин и Гусынской (Казанской), не предпринимали дальнейшего наступления, а продолжали оставаться в занятом ими хуторе Шумилине, производя суд и расправу над всем живым и мертвым. Прерванная телеграфная и телефонная связь между упомянутыми дивизиями была вновь восстановлена через главный штаб в Вешенской, откуда как первая, так и последняя дивизии получили необходимые сведения о положениях на фронте соседних дивизий.

Начальник 4-й дивизии подхорунжий Медведев, видя толкотню красных на одном и том же месте, решил: прорвать фронт между хутором Круглым и слоб. Солонка, откуда и ударить во фланг красным, занимающим хутор Шумилин. Около 11 часов дня подхорунжий Медведев оставил на занимаемых позициях всю пехоту и для поддержки последней пришедший Дударевский конный полк и сам, во главе всей конницы, прикрываясь возвышенностью лежащей по реке Гусынка, к 12 часам дня подошел к определенному месту прорыва. Дав коням короткий отдых, он развернул два конных полка в лаву и внезапно обрушился на слабые части красной пехоты. Рассеяв находящегося перед собой противника, подхорунжий Медведев, в тот же час, своим правым плечом ударил во фланг красным, последние, не выдержав удара конницы, спешно оставили хутор Шумилин и отступили на слободу Березняги. В 12 часов дня 25 мая 3-я дивизия вела бой на улицах станции Казанской, а главную часть конницы и пехоты сосредоточила на своем правом фланге, удерживая наступление красных (в стык флангов). 4-я же дивизия, продолжая теснить Шумилинскую группу на северо-запад, стала угрожать вклинившемуся противнику выходом в тыл. Около часу дня центр ударной группы начал медленный отход назад, но правым флангом красные беспощадно громили станцию Казанскую.

Ровно в 2 часа дня того же 25 мая послышался подоблачный шум нескольких пропеллеров; четыре аэроплана — передовые вестники приближающейся поддержки — быстро опускались каждый в своем направлении. Капитан Веселовский, опустившись между станцией Вешенской и хутором Гроховский, сейчас же отыскал ближайшую телефонную связь со штабом армии и передал: „Конница генерала Секретова оставлена мною в хуторе Федоровском (стан. Казанская) в 8 верстах от станции Казанской, которая сейчас начнет наступление на последнюю“.

В то время, когда красные громили Казанскую, сжигая все казачье, как вдруг, с правобережной высоты, лежащей на линии станции Казанской, послышался орудейный гул и свистящие снаряды стали разрываться над цепями красных. После нескольких удачных разрывов, уже загрохотал ураганный огонь неведомых пушек и сотни снарядов, то лопаясь в воздухе, то взрывая песчаную степь, выбрасывая облако серой пыли, приводили красных в замешательство. Артиллерийский огонь конницы Секретова из 32 орудий, приковал правый фланг противника на месте.

В то время, когда неведомые пушки громили красные ряды, из главного штаба армии восставших была передана весть по всем дивизиям о соединении с конницей генерала Секретова. Передать впечатление той радости, которая охватила армию восставших я не берусь. Я же, как командующий доблестными верхне-донцами, помню только одно, что в штабе звон телефона не прекращался; трубка мною из рук не выпускалась; все вызывали командующего, и на мой вопрос: „говорит командующий, что угодно?“, но вместо какого либо ответа слышалось бесконечное „ура“ множества голосов.

3-я дивизия, испытывавшая тяжесть недавней борьбы с нашествием многочисленной московской орды, будучи подкреплена духом и огнем подошедшей конницы Секретова, бросилась в яростную атаку; сломленные красные части, бросившиеся в бегство, пытались прорваться на ст. и нов. Криуши, но отрезанные 4-й дивизией с севера, спасались беспорядочным бегством по тракту слобод Погорелое, Бычок и далее.

К ночи 25 мая 3-я и 4-я дивизии одержали блестящую победу, отбросив красных на Богучар и Петропавловку. Добровольцы женщины и девушки, которые принимали активное участие под хутором Шумилиным, проявили необычайную храбрость, за что девица Ш. Сурярова была награждена георгиевским крестом 4-й степени.

Конная группа генерала Секретова, не встретивши сопротивления красных по дороге к Казанской, обрушилась на станицу Мигулинскую. Слабые части красных, которые прикрывали обоз, без сопротивления бросались кто куда. Одних ловили во дворах, гумнах, сараях, другие бросались в Дон.

Конница генерала Секретова в ночь 26 мая расположилась в районе станицы Мигулинской. Утром 26 мая она двинулась на восток и по пути следования до хутора Фролова противника не встретила. Занявши последний и, выслав разведку далее на восток, которая обнаружила красных на линии хут. Токин, поселок Ясиновка, соприкасаясь своим левым флангом с хутором Грачев, тщательно установивши место расположения красных, конница Секретова произвела ряд конных атак, но безуспешно. Пехота красных, окопавшаяся на упомянутых позициях, успешно отбивала атаку последних. До 4 часов дня все попытки генерала Секретова — сломить сопротивление красных успеха не имели. Несмотря на неудачу, генерал Секретов поручил дальнейшее руководство боем одному из старших начальников дивизий, а сам с начальником штаба прибыл в Вешенскую. 1-я дивизия восставших, под огнем противника переправилась через Дон и, выбив красных из х.х. Белогорья и Базки, повела наступление на хутор Токин, во фланг противнику. Вновь возобновившийся бой между пехотой красных и конницей Секретова длился

до 6 часов вечера без перемен; красные попрежнему удерживали занятую позицию. Подошедшая 1-я дивизия восставших повела наступление и ударом в правый фланг красных заставила их спешно отступить на ст. Усть-Медведицкую.

Генерал Секретов в стан. Вешенской был встречен почетным караулом из седых стариков. Во время нашей беседы с ним было доставлено генералу Секретову донесение от его начальников дивизий следующего содержания: „Противник разбит и спешно отступает на Усть-Медведицкую. Потери колоссальные“. После этого начальник штаба Секретова полк. Калининский заявил мне: „Наши части устали и преследовать красных не в состоянии; возьмите нашу артиллерию в свое распоряжение“. Начальник 1-й дивизии восставших с приданной ему артиллерией успешно преследовал отступающего противника, захватывая пункт за пунктом. Красные, отступая на Усть-Медведицкую, 28 мая укрепились на высотах Монастырских пирамид и, упорно сопротивляясь, прикрывали переправу через Дон своих отступающих. 1-я дивизия (быв. 13-я бригада) под командой сотника Богатырева (назначенного мною начальником дивизии) переправилась через реку Хопер (в устье Хопра и Дона) и наступала левым берегом Дона на восток, с целью отрезать путь отступления красных от Усть-Медведицкой. Красные, продержавшись на занимаемых позициях до ночи 28 мая, с наступлением сумерек, оставив Усть-Медведицкую, спешно отступили на стан. Александровскую, Глазуновскую и Скуришенскую.

При вступлении частей армии восставших в Усть-Медведицкую, все и все смеялось и плакало от радости.

И. М. Назаров.

Два дня в Кизляре.

(Воспоминания).

В 1919 году, в душные жаркие дни, когда июльское солнце на безоблачном небе жгло как пламень, я прибыл по делу в Кизляр.

Поезд пришел поздно вечером. Какой-то полу-черкес, полу-татарин провел меня в лучшую гостиницу, которая в любом другом городе свободно была бы худшей. Спать было нельзя из-за клопов, и я заснул только утром, когда рабочий день у них вероятно кончился.

Встал поздно, часов около 10-ти. Приказал подать чай и стал умываться. Случайно взглянул в окно. Тут был вид на городской сад и через головы деревьев блеснул крест маленькой церкви.

Вправо от сада, тут же рядом — пустая, ровная, песчаная, как край Сахары, площадь. Едва мой взгляд остановился на ней, как я увидел нечто, что заставило меня протереть глаза и вновь внимательней посмотреть туда же. Однако, от этого ничего не изменилось. По-прежнему там стояли на том же месте два столба, поперек — третий, а в пространстве между ними при ветре поворачивались люди. Их — трое, один лицом ко мне, два другие задом.

„Что за чорт — подумал я — на площади, в городе, среди белого дня — повешенные, что-то уж очень просто“. Я позвал прислугу. Пришел армянин в черкесской форме.

— Что это у вас? спросил я, указывая на площадь.

— Ничиво, вещаютца нимношка!

— Что, это каждый день?

— Нет, душа мой, зачэм каждый день, но ниретка, очень ниретка, — отвечал тот с характерным армянским лукавством.

— Но почему же, спросил я, вешают именно тут, в городе?

— А штоб видал и штоб боялся!

— Кто, штоб боялся, — продолжал я в недоумении.

— Народ, люди, черкес, татар, казак, — пояснил армянин, широко улыбаясь.

— А русские? спросил я.

— Русски нэт, — отвечал армянин с видимой яростью, — а почиму нэт, сам видишь: гинирал — русски, судья русски, секим башка русски, им не надо бояться.

Вот что, — подумал я, — кто бы знал, что безопасность гарантируется лаптями...

— А за что их повесили?

— За шейку, душа мой, как раз за шейку, — отвечал армянин, видимо сам очень довольный своей чисто армянской остротой.

Когда я оделся и вышел, у виселицы, которая как на ладони была видна отовсюду, толпы не было, чего не могло не быть во всяком другом городе. Нет, я заметил: обыватели тут относились к этому видимо совсем по обывательски. Придут несколько человек, обойдут со всех сторон, обстоятельно посмотрят, покаивают головами, помашут руками и уходят. Их сменяют другие, такие же, с такими же манерами и жестами.

Нечто повлекло меня туда же, к ним, которые равнодушно, то в одну то в другую сторону поворачивались на веревках. Перейдя площадь, я увидел: ближе ко мне висел громадный мужчина лет 45, с обрюзгшим красным лицом, с хмурым и надутым выражением. Ветер развевал его рыжую характерную татарскую бороду. Другой, в середине, старик чеченец, весь белый, с седой подстриженной бородкой. Третий, молодой, широкоплечий, красивый бронет, характерно кубанский казак, с длинными пушистыми усами, в изорванном красном бешмете и казачьих штанах с позументами. У всех на груди плакаты с надписью: „грабитель“, „убийца“ и „агитатор“ и на столбе тут же приговор полевого суда на клочке очень дешевой бумаги. На нем свободно уместились три этих смерти. Из приговора я узнал, что татарин повешен за грабеж и что, как оказалось, был действительно грабитель. Черкес старик убил. Убил русского солдата, глазил приказ, но как, приказ умалчивал; он убил его в то время, когда несколько этих солдат были заняты

грабедом в его ауле. Казак же, кубанец, с плакатом „агитатор“, был „агитатор за отделение от России“. Это был, очевидно, один из тех первых орлов самостийности, чьи крылья были сломлены русскими палачами. Те первые, роль которых была не понята теми, во имя кого они боролись и гибли. И только теперь многие поняли великое дело этих первых повешенных...

Вечером я был в городском саду. Там гремел чисто кизлярский оркестр из сброда — флейта, гармошка, зурна и трамбон с барабаном. Играют на какой-то особенный залихватский лад — очень громко и очень не сложно, по-кавказски.

В саду было много гуляющих, вероятно потому, что тут некуда пойти. Часов в 9 пришел и он — сатрап города, генерал Н. Высокий, тонкий, с длинными не твердыми ногами. Лицо бледное, с той нездоровой лоснистостью, которая сама за себя говорит о бурной и дурной болезни, от которой он несомненно страдает. Выражение лица и всей фигуры надменное. Презрительно сдвинуты брови и сморщен лоснящийся нос, но глаза бегают и меньше всего говорят о храбрости. Он одет в кубанскую черкеску, с богатой отделкой шапка, газыри, кинжал и кубанская папаха.

— Почему? — спросил я у одного из офицеров здешнего гарнизона. — Вот генерал ходит в кубанской форме, разве он кубанец?

— Да, кубанец Рязанской губернии, — презрительно ответил тот.

— Но тогда почему же? спросил я резко.

— Потому, что эта форма красивей, чем пехотная, — сказал офицер, улыбаясь.

— Так ведь это же возмутительно, — вспыхнул я, — носить чужую форму потому, что она красивей.

— Вы правы, — ответил мне офицер, — но не возмущайтесь так громко; у нас ведь это очень не безопасно, осадное положение.

— Не думаете ли вы, — сказал я громко с презрением в тоне, — что он меня повесит, как тех? И я указал в направлении площади.

— Как вам сказать, — сказал офицер, загадочно улыбаясь.

— И все же — сказал я опять громко и опять презрительно, — не унижусь до того, чтобы бояться вороны в павлиньих перьях.

Его превосходительство, как звали здесь сатрапа, пьянствовал в саду до утра. В его свите из нескольких штабных появились потом и женщины. Одна бывшая артистка из Ростова, опустившаяся до улицы, а две других самые обычные проститутки из Грозного.

Его превосходительство, видимо, обвешенный и пьяный, с посоловелыми глазами и отвисшей губой, был просто жалок и ничем не походил на грозного сатрапа. А на заре, когда вся эта милая компания, пересекая площадь, плелась домой спотыкаясь и толкая друг друга, на них смотрели мрачные лица повешенных и, как знать, не предвещали ли они им такую же участь...

На другой день, вечером, я вышел из гостиницы с целью прогулки. Повешенные все еще не были убраны, очевидно цель устрашения была не кончена и его превосходительство не считал нужным прекратить свое издевательство над трупами. Я был очень далек от мысли, что тут же, через несколько минут, вновь натолкнусь на нечто такое же, как эти странные, иронически на все смотрящие трупы.

Проходя по алее, ведущей в сад, я случайно взглянул на площадь, в дальний край ее; тут виднелась тюрьма и ряд маленьких зданий, на фоне темнеющего в тумане леса; в том направлении я увидел сцену, которая меня невольно заинтересовала. От тюрьмы, по площади к городу, шла группа людей. Впереди верхом ехал офицер, а сзади его, полукругом вокруг какого-то человека, шли солдаты с винтовками в руках. Ружья с прижатыми штыками. „Конвой“ определил я наугад и не ошибся.

Когда вся эта щетинистая от штыков группа приблизилась ко мне, я увидел, что это действительно — конвой, а в середине его идет тот, кому обязана вся эта страшная почесть и идет туда, прямо к „ним“, что видно по направлению едущего впереди офицера. „Опять казнь“ подумал я с ужасом и, не веря в справедливость

предположения, пошел за конвоем. Меня потянуло за ним какое-то необъяснимое чувство. Не любопытство, нет, скорее чувство какого-то смутного протеста, как будто я мог в чем либо помешать этой страшной процессии. Странно, мне сейчас же бросилась в глаза одна деталь, которая так сразу не объяснилась. Тот, который шел внутри конвоя, шел повидимому совсем свободно, не быстро, без малейших признаков поспешности, как-то напротив особенно легко и плавно, а эти, вокруг него с прижатыми штыками, делали громадные шаги, шли с напряжением, спешили и чуть-чуть не бежали. Так они шли через площадь туда, как думал я, „к ним“ и, подойдя близко к виселице, сразу остановились.

С каким-то необъяснимо волнующим интересом я стал во все глаза смотреть на того, кто был в центре конвоя. Он был среднего роста, лет 30-ти, пропорционального и сильного сложения; лицо открытое, чистое, с цветом здоровой и молодой жизни; глаза голубые, ясные, с прямым, открытым и смелым выражением; правильный нос и красивый рот. Одет в черкеску, синий бешмет, без погон, без папахи. Ровно, не высоко и не опущенно держал голову и смотрел перед собой прямо и просто. И, что поразительно, во всем существе его я не мог уловить ни тени того жалкого, почти естественного и объяснимого страха, который должен бы быть в душе его в такие минуты дикого ужаса. Но, ни в чертах лица его, ни, очевидно, в глубине души его страха не было. Нет, все также прямо и просто он смотрел и на трупы, грозно и глупо висевшие меж столбами, и на окружающих, со штыками на ружьях, и на толпу, сзади солдат, и на первую звезду, как громадный бриллиант загоревшуюся на западе, и на сады, как завороненные в вечернем сумраке, и на все вокруг, с чем он должен был через несколько минут навеки проститься. Но на все это он смотрел только прямо и просто. Как скованные ужасом, все окружающие его — и конвой, и толпа, и офицер — несколько мгновений молчали. А он, медленно, будто освещая всех своим лучистым взглядом, спокойно ждал. Молчание нарушил офицер. Он приказал одному из солдат очистить место.

— Сбрось этого, сказал он чуть дрогнувшим голосом и указал на рыжего татарина.

Высокий плотный солдат при помощи другого поднялся по столбу до верха, взлез на перекладину, лег на ней и ножом перерезал веревку. С глухим звуком падающего мешка с мясом повешенный рыжий упал и, как живой, чуть разогнувшись, лег на землю. Запах трупа дохнул и разлился в воздухе. Веревку стали перебрашивать через верхний столб (она раза два оттуда срывалась). Сделали петлю. Страшные моменты казни подходили к „нему“ вплотную. Казалось, смерть уже дышала ему в лицо своим страшным дыханием. Но, и это было принято им, как нечто обычное: ни страха, ни малейшего волнения не видно.

— Снимай черкеску и бешмет, сказал ему офицер. Не спеша, с полным спокойствием в лице и движениях снял одежду и положил на землю.

— Снимай рубашку!

Он снял и ее и стал снимать другую.

— Ту не нужно, сказал офицер.

— У меня их две, абсолютно спокойно, без вызова, без злобы, без иронии отвечал он опять просто и, сняв вторую рубашку, остался в одной нижней, белой и совершенно чистой.

— Приготовиться! сказал офицер заведомо не твердым и видимо вибрирующим от волнения голосом.

„Он“ обернулся в повороту на восток и стал креститься, видимо творя молитву, опять без волнения, опять до бесконечности просто.

Через минуту, может две, он повернулся лицом к офицеру и сказал:

Я готов.

И этот тон, этот голос и это выражение лица, были так необычны в своей простоте, что в толпе, окружавшей его, родился ужас. Да, до ужаса велик человек; в такие моменты ясно до ужаса всем, и близким, и врагам, и палачам, и судьям, как высоко прекрасна и божественна в своей бездонной глубине душа человека.

Смерть, даже она, вечный разрушитель и палач жизни, даже она, слабая и ничтожная, бледнеет и молчит перед душой человека.

Ему на шею надели петлю. Он сам стал на скамейку, а через минуту, когда потухла заря на западе и последними огнями лучей солнце золотило верхушки скал и голову дальнего Казбека, когда ближние сады погружались в мрак, а туман с востока доносил чарующий прилив моря, он висел рядом с „ними“ и был трупом.

И даже в последний момент, когда смерть как коршун спустилась над ним и холодными, как лед, губами запечатлела на лице его свой последний поцелуй смерти — ни звука, ни молитвы, ни стоны не вырвалось из уст его и он умер в божественном молчании. Многие плакали из толпы вокруг меня; один из солдат рукавом утирал слезы, слезы дрожали и у меня на глазах. Но мертвых не воскрешают никакие слезы...

Ночью я был опять в саду. Там же узнал подробности судьбы последнего повешенного. Это был казак, ерець. Недавно вернувшись в отпуск в станицу, он узнал, что сестру его, девушку 18 лет, изнасиловал офицер добровольческой армии, какой то штабс-капитан. Не говоря никому ни слова, казак вспрыгнул на коня и ускакал в направлении позиции, куда ушел отряд штабс-капитана. Три дня искал его. Недалеко от Киз-

ляра нашел и убил тремя выстрелами из револьвера на месте. Его арестовали и судили в Кизляре. Суд, имея в виду тяжесть вины штабс-капитана, приговорил казака к каторге, но его превосходительство, порвал приговор, накричал на судей и приказал дать другое решение, которое могло бы удовлетворить его за смерть русского офицера. Стало понятно само собой, чего он требовал во имя „справедливости“... И суд, как суд своего времени, был судом неправды. Приговор был изменен, генерал удовлетворен, казак повешен.

На следующий день, когда тихое летнее утро будило перепелов на лугах и они перекликались там в четких трелях, когда из куги у озер взлетали с карканьем стаи уток и шумел камыш в окрестных болотах, я выехал из Кизляра.

Но и до сих пор не угасают во мне яркие воспоминания... как о том, с какой легкостью русский сатрап, пьяной рукой, с немаленькой совестью разбрасывал вокруг себя смертные приговоры, так и о том, с какой твердостью там же умер казак, до последнего момента не павший душой. Ни молитвой, ни стоном, ни тенью в лице не показавший страха и смелости смерти в глаза до последнего момента прямо и просто.

В. П. Елисеев (В. Петров).

„Большая человеческая правда“ и „Казачий национализм“.

(По роману М. Шолохова „Тихий Дон“).

„Ой ты, наш Батюшка Тихий Дон!
Ой, что же ты, Тихий Дон мутнехонек течешь?
Ах, как мне, Тихому Дону, не мутно течишь!
Со дна меня, Тиха Дона, студены ключи бьют.
Посредь меня, Тиха Дона, бела рыбица мутит“.

(Старинная казачья песня).

Роман М. Шолохова „Тихий Дон“ — современная советская литературная (вернее сказать, литературно-политическая) новинка. О чисто литературной ее стороне, кроме похвалы, другого ничего не можешь сказать. Необыкновенная наблюдательность и знание автором казачьей жизни; удивительная правдивость и точность схваченных картинок из жизни казачьего быта; родственная казачьему разговору образность слога, — все это так красочно, чутко и умело воспроизведено в романе автором, что „Тихий Дон“, заполняя собой твой разум, твое „я“ и твое горячее воображение, переплетается родственными тебе воспоминаниями, проходит перед тобой живым, как на экране.

Главными действующими лицами романа — казаки, а потому „Тихий Дон“ М. Шолохова является для нас, казаков, не только интересным и заслуживающим нашего внимания, но и особенно ценным.

Само собой разумеется, что и „Тихий Дон“ не выходит из рамок русского „контрольного задворка“ (подразумеваем чисто „политическую“ сторону романа, на которой, собственно, мы и остановимся); разумеется, что и большевики, так же как и все русские государственные режимы, не долюбивают казаков и держат их в „загоне“, подгоняя все народности СССР под общий „совето-русский ранжир“; известна и ясна „тенденция“ и „Тихого Дона“, несмотря на все свои литературные достоинства... Известно все и всем, но только с русского (а как в данном случае, то с „русско-советского“) „контрольного задворка“...

Наша же задача сделать известной „политическую сторону“ романа чисто с казачьей точки зрения — с „казачьего контрольного задворка“ (мы на это имеем право, так как „политическая сторона“ романа касается в данном случае специально нас, казаков): с чем сочтем нужным согласиться (то-есть, что признаем своим казачьим) — согласимся, а с чем будем не согласны (то-есть, что найдем чужим, нерод-

ственным нам, наносным), о том оговоримся по-своему, по-казачьи...

Казачье примем за казачье, а наносное, приклеиваемое казакам чужими людьми, отбросим, как чужое...

Все же сначала о чисто „литературной стороне“ романа.

Повседневная казачья жизнь, не затрагивающая собой господствующей в романе большевицкой „большой человеческой правды“, изображена так верно и образно (собственно говоря, и „политическая сторона“ романа изображена верно и образно. Но только... с большевицкой точки зрения), что такие места романа читаешь и перечитываешь до упоения.

В самом деле, кому из казаков неизвестна такая дорогая и милая картинка и кого она не возьмет за живое:

— „Давай, Ксюша, заиграем песню?“

Присели, прислонясь к вороху обмолоченной пыльной пшеницы. Степан завел служивскую. Аксинья грудным полным голосом дисканила. Складно играли, как в первые годы замужней жизни. Тогда, бывало, едут с поля, прикрытые малиновой полой вечерней зари, и Степан, покачиваясь на возу, тянет старинную песню, тягуче тоскливую, как одичавший в безлоды, заросший подорожником степной шлях. Аксинья, уложив голову на выпуклые полукружья мужниной груди, вторит. Хуторские старки издали следят за песней:

— Голосистая жена Степану попала.

— Ишь ведут... складно!

— У Степки ж и голосина, чисто колокол!

И деды, провожавшие с завалинок пыльный багрянец заката, переговаривались через улицы:

— Низовскую играют.

— Этуго, полчок, в Грузии сложили.

— То-то ее покойник Кирюшка любил!..“

Так же верны и так же захватывают душу и такие места романа, как веселые бесшабашные игры хуторской молодежи, свадьбы, проводы казаков в лагерь и на войну. Все верно, красочно и захватывающе, но... не везде. А только, повторяем, там, где автор касается таких сторон казачьей жизни, которые более или менее, не сдавливают его железными обручами „большой человеческой правды“.

Но если уж где этой „большой человеческой правде“ следует проявиться, то она проявляется, обнажая и

святое человеческое и „чисто-казацье“, во всей своей наготе...

Григорий в церкви — венчается:

— „Безразличие оковало Григория. Он ходил вокруг аналоя, наступая гундосому о. Виссарияну на пятки стоптаннх сапог; останавливался, когда Петро неприметно дергал его за полу сюртука; глядел на стручатые косички огней и боролся с сонной овладевшей им дурью“...

Как будто бы у Григория при венчании одервене-ла душа, и он лишился чувства уважения к себе, что его при венчании „оковало безразличие“, такое „безразличие“, что он принужден был бороться „с сонной овладевшей им дурью“...

К а з а ч ь е, — венчание — брак. Советское, — венчание — „дурь“. Потому и понятна „тенденция“ автора...

Подобное подчеркивается автором и при принятии Григорием присяги:

— „Григорий стоял, не вслушиваясь в слова присяги, которую читал священник. Он оглядывался в лицо Митьки, тот морщился от боли и переставлял скованную сапогом ногу. Поднятая кверху рука Григория затекла, в уме вразброд шла угарная возня мыслей (как раз тут-то ей и приспичило идти! В. Е.). Подходил под крест и, целуя обслуживленное многими ртами влажное серебро, думал об Аксинье, о жене. Как вспышка зигзагистой молнии перерезало мысли короткое воспоминание: лес, бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как в нарядной серебряной шлее; влажный горячий блеск черных, из-под пухового платка, аксиньиных глаз“...

Подобные тенденции автора — „тенденции религиозные“, а религия, как известно, одно из главных „зол“ большевицкой „большой человеческой правды“. Вот потому-то автор и толкует ее (религию) в своем вкусе — „обслуживленном“...

Но мы остановимся подробней на другой не менее заслуживающей внимание „тенденции“ московских владык, а именно „тенденции национально-казацкой“. Посмотрим, как автор романа, при всей своей иногда проскальзывающей искренности и уважении к казацкой жизни, подпадая под большевицкий „тенденциозный пресс“, толкует казачий национализм:

— „Постойте, станичники!

— Куцый кобель тебе станишник!

— Мужик!

— Лапоть дровяной!

— Дай ему, Яшь!

— По гляделкам ему!.. По гляделкам!..

— А ты кто?

— Я-то казак, а ты не из цыганев?

— Мы с тобой обое русские.

— Брешешь! — раздельно выговорил Афонька.

— Казаки от русских произошли. Знаешь про это?

— А я тебе говорю, — казаки от казаков ведутся.

— В старину от помещиков бежали крепостные, селились на Дону, их-то и прозвали казаками.

— Иди-ка ты, милый человек, своим путем, сжидая запухшие пальцы в кулак, слержанно-злбно по-советовал Алексей безрукий и заморгал щаче.

— Сволочь поселилась!.. Ишь, поганка, в мужиков захотел переделать!..

.. Эй, хохол! Дорогу давай! На казацкой земле живешь, сволочуга, да ишо дорогу уступать не хочешь?..

Так автор романа оттеняет „казачий национализм“, но, ведь, автор — большевик, а потому, несмотря ни на какой оттенок, ни на какое отделение „казачьего национализма“ от „национализма русского“, он все же по большевицкой терминологии „казачьего национализма“ допустить не может. Так оно, конечно, и есть. Дальше он „казачий национализм“ называет, просто, „гильцом“...

Часть IV, из главы IV:

— „Он вспомнил те недели, которые провел на хуторе Татарском, в семье, после разрыва с Аксиньей; по ночам жадные, опустошающие ласки Натальи, словно старавшейся вознаградить за свою прежнюю девическую холодность; днями внимательное, почти завскачивающее отношение семьи, помет, с которым встречали

хуторные первого георгиевского кавалера. Григорий всюду, даже в семье, ловил бровные, изумленно-почтительные взгляды, — его разглядывали так, как будто не верили, что он — тот самый Григорий, некогда своевольный и веселый парень. С ним, как с равным, беседовали на майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки, девки и бабы с нескрываемым восхищением разглядывали бравую, чуть сутуловатую фигуру в шинели с приколотым на полосатой ленточке крестом. Он видел, что Пантелей Прокофьевич явно гордился им, шагая рядом в церковь или на плац. И весь этот сложный тонкий яд лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытравлял из сознания семени той правды, которую посеял в нем Гаранжа. Пришел с фронта Григорий одним человеком (под впечатлением „правды“ большевика Гаранжи. В. Е.), а ушел другим. Свое, казацье, национальное, восанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни взяло верх над большой человеческой правдой.“

В „этом-то сложном тонком яде лести, почтительности, восхищения“ и заключается вся главная положительная мысль писателя Советской России, отрицающего за Григорием согласно „большевицкому мировоззрению“, его право на „свой казачий национализм“. Советский писатель знает и допускает среди казаков бытие „казачьего национализма“, но, во имя „большой человеческой правды“, он с ним не мирится. — „Сложный тонкий яд лести, почтительности и восхищения“...

Знает автор жизнь казаков отлично; знает, как казаки до ней цепки. Обо всем этом он говорит, ничего не скрывая, но вместе с тем, ради все той же „большой человеческой правды“, он это „казачье, национальное, восанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни“, старается забить, затоптать, затенить чужим, наносным, некровным для казака „русско-большевицким“...

Трудно писать романы, не затрагивая, а, прямо-таки, базирываясь на „политической тенденции“ (а на „большевицкой тенденции“ еще трудней)...

Потому и выходит, что для автора романа „беседовать на майдане со стариками“; удостоивание от стариков при встрече с ними „снятие шапок“; умиление от „нескрываемого восхищения девок и баб“; гордость отца, идущего рядом с Григорием в церковь по плацу, — все это есть ничто иное, как „сложный тонкий яд лести, почтительности, восхищения“, который столько принес вреда „авторской тенденции“ („вытравил из сознания Григория семени той правды, которую посеял в нем Гаранжа“), а для казака Григория Мелехова это же самое есть „свое, казацье, национальное, восанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни“... Что поделаешь? — У каждого — свое. И, конечно, каждый прав по своему...

Дальше: — „Я знал, Гришка, — подвыпив на прощанье говорил Пантелей Прокофьевич и, волнуясь, глядел серебро с чернью волос: — знал, давно, што из тебя добрый казак выйдет. Год от рождения тебе сравнялся, и по давнишнему казацкому обычаю вынес я тебя на баз, — помнишь, старуха? и посадил верхом на коня. А ты, сукин сын, цап его за гриву рученками!.. Тогда ишо смекнул я, што должен из тебя толк выить — и вышел“...

Верно, образно и кровно! А следом очередная „тенденция“...

— Добрым казаком ушел на фронт Григорий, не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берет свою казацкую славу...

„Добрый казак“ — ирония автора... „Бессмыслица войны“... Если уж говорить о ней, о „бессмыслице войны“, то как разумеет эту „бессмыслицу войны“ советский автор? Считает войну бессмысленной — ненужной, преступной?.. Совсем нет, совсем не то. Воевать нужно и воевать нужно очень крепко. Но... только опять-таки ради одной ее — „большой человеческой правды“. Она одна только допускает смысл войны; она только одна — „не бессмыслица“, и она только одна, как цель, оправдывает все средства...

— „От! А як була б у кожном государстві власть рабоча, тоді б не воювали (а щоб она була нужно, значит, воевать! В. Е.). То й треба зробить. А, це бу-

де, в добову домовину их мать!.. Буде... Одна по всьому світу буде червонна жизнь...“

Значит... Значит, война — „не бессмыслица“, мирится с ней Гаранжа в душе лишь бы война эта была ради его интересов — ради его „червонной жзни“, сиречь „большой человеческой правды“... А вот, если война будет за интересы Григория — для „сбережения его казачьей славы“, то тогда эта война должна быть почему-то „бессмыслицей“...

Для автора сажать на коня годовалого казаченка ни больше, ни меньше, как бессмысленная, „гнилая“ казуистика, а для отца и Григория это сажание является, действительно, „давнишним казачьим обычаем“, про который автор хотя и вспоминает, но совсем не для преклонения перед ним, а только лишь для того, чтобы подчеркнуть (по его мнению) всю затхлость и ничтожность этого „казачьего обычая“ с своей, большевицкой точки зрения...

А почему же, в самом деле, Григорий ушел на

фронт, „не мирясь в душе с бессмыслицей войны“ (хотя Григорий этой войной насытился, думаем, ничуть не меньше Гаранжи?) Ушел, по выражению автора, „добрым казакom“ — „беречь свою казачью славу“...

А потому, что побыв дома, поглядев на все свое, родное, подумал, подумал... да и не согласился с Гаранжей. По-Гаранже „границы — геть!“.. А по-Григорию нет — не геть! Григорий слишком любит свои границы, чтобы он мог от них отказаться...

Вот потому-то автор и злится на Григорьево „казачье, национальное, восанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей его жизни“... Злится потому, что оно „взяло верх над большой человеческой правдой“ Гаранжи...

Для советского писателя — злость, ненависть, а для нас — святость. Для советского писателя — „большая человеческая правда“, а для нас она — „большая человеческая ложь“...

(Окончание следует).

Елисеев-Бідолага.

Песнь, иль гимн?

Осенью 1917 года, в бурные дни революции, в дни, когда в казачьих краях шло государственное строительство по обычаям старины глубокой — на Кубанскую Войсковую Раду прибыли и делегаты с фронта со своими требованиями. И вот, когда щемящая душу свою правдивостью отповедь стариков для них, казалось, тонула в обстановке несдержанных страстей и сулила раскол на два враждебных лагеря, один маститый член Рады вскочил на эстраду и, как последним резервом в так тревожной схватке двух поколений, пронзил всю эту атмосферу дебатов словами любимой всеми кубанскими казаками Войсковой молитвы-песни

Ты, Кубань, Ты наша Родина
Вековой наш Богатырь...

И, словно волшебным железом, рассекая сгустившуюся тяжелую политическую тучу, он молниеносно поднял на ноги всю залу взбудораженных парламентариев, которые, забыв разногласия, воодушевленно подхватили:

Многоводная, раздольная
Разлилась ты вдоль и всирьь...

И дальше, со слезами на глазах у многих, все пропели до конца эту Войсковую Кубанскую песнь-молитву и словно рукою смахнули разлад, возникший между сынами и отцами.

В октябре месяце того-же года, 1-й Кавказский полк, в составе 5 Кавказской казачьей дивизии (1-й Кавказский, 1-й Таманский, 3-й Екатеринодарский, 3-й Линейный, 4-я и 6-я Кубанские казачьи батареи), стоял в Финляндии, когда произошел большевицкий переворот в Петрограде.

Время тогда было и без того жуткое, а с этим переворотом оно безгранично усугубилось. Бунтарская масса солдат и матросов разлила по всей этой маленькой, чистенькой, скромной и тихой Финляндии свой грубый произвол и насилие...

1-й Таманский полк в Выборге, а 3-й Екатеринодарский в Гельсингфорсе, загнанные и придушенные в своем одиночестве, задыхались в смертельной жуте за завтрашний день... Слово дикие звери, вкусившие человеческой крови, никем и ничем несдерживаемые, с нескрываемой злобой и опьяненным ожесточением солдаты протягивали свои окровавленные руки к расправе и над „казацкими ахвицерами“. В Вальмондстранде, в этом маленьком и отдаленном городке, где была скупена целая бригада казаков со штабом дивизии, батареи и другими командами, и где солдатский гарнизон был не так велик, положение было легче. Но брошенный лозунг „казацкие офицеры должны быть выкупаны в Сайменском озере“ — звучал угрожающе. И только затаенное молчанье казаков, да вековое братство и однородность состава казачьих частей — эта загадка

для новых властителей дня (что скажет казачий полк?) — сдерживало их от выступлений...

В такой атмосфере, декретом новой власти, в войсках приказано снять погоны и произвести выборы всего командного состава.

Цель была ясна: „легально“ убрать офицеров из частей и власть передать в руки большевизанствующего элемента.

Туча сгущалась... Жуть усиливалась... Казачество, заброшенное от своих родных станиц буквально за тридевять земель, запертое единственной железнодорожной магистралью Выборг — Петроград для выхода к себе, на юг, издерганное и затравленное событиями, насторожилось.

Чувство одиночества среди бури „солдатской революции“, чувство отчужденности их от этой звериной стихии разрушения, боязнь зайти в бесповоротный тупик и необъяснимое чувство приближения какого-то страшного конца, от которого надо было, во что-бы то ни стало уйти и уйти „домой“ в свои края, на свою родимую сторонку, на свою казачью землю, в свое „Войско“, на Кубань — все это, наряду с оскорбленным сознанием за своих офицеров, с сознанием, что без их руководства им не выбраться из создавшегося положения, что-бы уйти к себе в станицы, — все это, сделав в казачьих душах глубокий перелом, — заговорило в них волнующей струей и толкнуло казачью массу сгрудиться вновь вскруг них, вокруг своих офицеров.

Такое психологическое настроение было доподлинно в 1-м Кавказском полку, числившемся в дивизии стойким.

Произведя выборы в сотнях и оставив на своих должностях всех офицеров (кроме одного — жестокого и нелюбимого), в скучную осеннюю северную непогоду Кавказский полк собрался в громадном флигеле офицерского собрания 20-го Финляндского драгунского полка для выбора командира полка. Старый командир, полковник Косинов¹⁾ Георгий Яковлевич, казак станицы Ладожской, был в долговременном отпуску на Кубани. Его замещал его помощник, Войсковой Старшина Калугин,²⁾ Степан Георгиевич, казак той-же станицы.

¹⁾ Генерал Косинов, командуя дивизией, остался с казаками на Черноморском побережье в 1920 г., после чего сидел в тюрьме в Москве затем в числе 500 „белых офицеров“ был сослан в Екатеринбург, откуда, спустя годы по старости лет, был отпущен на родину, жил в своей Ладожской станице и, ввиду популярности имени среди казаков, был арестован, судили за „заговор“ и расстреляли в Ростове в 1928 г.

²⁾ Полковник С. Г. Калугин также остался на Черноморском побережье, вместе с генералом Косиновым прошел те-же этапы плена, по старости лет также был отпущен на Кубань, жил в станице Кавказской и, слу-

Соединенный комитет (полковой и сотенные) уже заранее предрешил его избрание. Так предварительно вопрос был поставлен и в сотнях.

Командующий был вызван на собрание полка. И когда пятидесятилетний седой и испытанный штаб-офицер, неподозревавший причины „вызова“, в черкеске без погон, но при оружии, скромно вошел в расступившийся круг казаков и председатель полкового комитета вахмистр 1-й сотни Григорий Писаренко,³⁾ казак станицы Кавказской, при гробовом молчании всех объявил ему желание полка, то не воздержался старый дебелый казачина, ветеран полка с юнкерской скамьи, столь неожиданным исходом „октября“ и... пролил слезу...

(В февральский переворот, в Сары-Камыше, на Кавказском фронте, он, командуя временно 1-м Кавказским полком, был арестован на бивуаке, на виду у всех казаков полка взбунтовавшимися солдатами и брошен ими там же в тюрьму. Растерявшиеся казаки тогда его не отстояли и упростили солдат выпустить и вернуть в полк своего командира уже много дней спустя. Столь резкая перемена в настроении казаков и расстроила его).

В мертвой тишине потупились казаки... Долгая томительная немая сцена... Молчаливая слеза показалась у многих, ох как у многих тогда казаков. С нескрываемым волнением командир рукавом черкески смахивает слезы... Атмосфера однородности душ казака и офицера, усиленная горьким безвременьем, достигла своего апогея, но выявить себя открыто словно не решалась. Резко два шага вперед, в средину просторного круга делает командир 2-й сотни и прорезывает всех безмолвствующих и оцепенелых „Ею“, нашу Кубанскую Войсковую молитвою-песнью:

Ты, Кубань, ты, наша Родина
Вековой наш Богатырь...

И казачья масса, напряженная до нельзя, словно только и ждавшая этого, молниеносно разряжается и просветлевшая, с неостывшими еще слезами на глазах, громко подхватила в 800 своих голосов

Многоводная, раздольная
Разлилась ты вдоль и вширь...

И потом уже радостно полк пропел ее всю, эту неоцененную и трогательную нашу песнь-молитву до конца и, как полагается, с последними словами:

Шлем тебе, Кубань родимая
До сырой земли поклон...

Каждый молитвенно снял папаху и все разом торжественно поклонились в один круг. И потом словно спасенный из под плахи и ободренный, полк весело, в братском единении, словно сбросив гору с плеч, разошелся по казармам.

Через месяц Кавказский полк со своими офицерами, с полковым штандартом и с оружием, пройдя с севера на юг всю взбудораженную Русь, в декабре месяце 17-го года вошел в пределы Казачьих Земель и облегченно вздохнул...

В октябре месяце 1918 г., Корниловский конный полк (Кубанский), возглавляемый своим молодецким командиром, полковником Бабиевым, после успешных боев с красными, на широких рысях, из станицы Урупской подошел к станице Безгорной и с песнями вошел в нее. Головная певучая 2-я сотня Калниболотцев, запевав по полковому в два голоса, с воодушевлением гаркнула в 40 песельников двух-шереножного конного строя:

жа пасечником на берегу Кубани, в одну из ночей был изрезан, „исказнен“ (как писали „оттуда“) ножами подосланных убийц и умер там же в страданиях на берегу родной Кубани...

³⁾ Вахмистр Писаренко, по освобождении станицы Кавказской от красных, был в рядах местного казачьего гарнизона, но в один из дней был вызван из охранения, разбросанного по берегу Кубани в станицу, был арестован распоряжением добровольческого командования и без суда расстрелян в числе других 15-ти подороге „в суд“...

Многоводная, раздольная
Разлилась ты вдоль и вширь...

Жители станицы, услышав родную песнь своих родных казаков, все высыпали на улицы приветствовать долгожданных избавителей. Восторг их был необычайный. Пылкий Бабиев весь горел горделивостью и не успевал откланиваться своим кровным Лабинцам, тепло улыбаясь им в свой жесткий, торчащий вперед, ус.

При разводе сотен по квартирам, он, нажав на тебенки, резко подлетел к сотне на своем рыжем прытком скакуне, поблагодарил ее за песни и добавил: „Это наш Войсковой гимн и его, братцы, надо петь реже и только в торжественных случаях“.

Геройский Бабиев был прав, но здесь ошибся: казаки входили в свою казачью освобожденную станицу и это уже был торжественный случай.

В мае м-це 1920 г., Кубанская армия, изнуренная голодом и надорванная морально, была брошена на Черноморском побережье (Адлер) на злую волю красного победителя.

Оставленная Войсковым Атаманом и высшими строевыми военачальниками, она, обезоруженная, спешными полками, под вооруженным конвоем была препровождена в Екатеринодар. Первый эшелон ее был остановлен на Бурсаковской улице. Голова же его достигла Екатерининской. Здесь, на углу этих двух памятных улиц помещалась областная „ЧЕКА“. Ставни нижнего этажа были наглухо заколоченными. Внешне казалось, что это не жилой этаж. Вдруг, из глубины его, словно далеко-далеко откуда-то, донеслись до нас звуки столь знакомого и родного напева:

Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдоль и вширь...

Мы насторожились, болезненно прислушиваясь, вопрошая: кто же это там? и почему поют именно „Кубань“? Песнь ширилась, укреплялась в своей мощи и, через заколоченные наглухо ставни, словно рыдаючи по загубленной клзачьей душе, достигала улицы...

За Твою-ли славу старую
Жизнь свою-ли не отдать...

Для нас, молодых пленников, но уже терроризированных, это было столь неожиданно и смело, что мы, молча, только переглянулись между собою...

Потом мы узнали, что то были кубанские казаки-смертники, узнавшие о нашем прибытии и дававшие о себе весть...

Осенью того-же года, когда части армии генерала Фостикова, под давлением красных, отбиваясь порою в рукопашную, уходили в горы. Взвод пеших казаков, состоящий исключительно из учащейся молодежи Майкопского технического училища, не обученный строю, но с бесконечным горением в молодых сердцах за казачью долю и родимую казачью краинушку, случайно оторвавшийся от своей части и попавший на пятиверстную безлесную прогалину, нажатый эскадронной красной конницей и, казалось, считавший свою жизнь минутами, — этот взвод казачат, под руководством испытанного подхорунжого Н. сгрудился вокруг него, и отступал широким шагом, с предсмертным пением молодого казачьего гимна-песни

Ты Кубань, ты — наша Родина...

Он в моменты близкие к роковому концу, поврачиваясь резко кругом, давал 4-5 сметающих залпов на наседавших, валил из строя их десятками и вновь, подавляя в душе страх смерти и тая возможность спасения, продолжал спешно отходить к пролеску... Измотавшись душою, в последне — 2-3 сотни шагов до леса, взвод не выдержал и, прорвав нечеловеческое напряжение воли и дисциплины, бросился враспынную, на утек, к спасительной опушке...

„Ты Кубань...“ свое дело сделала:

Там, за деревьями красные достать их уже не смогли...

На севере России в одном из больших городов, томилось в красном плену до пятисот „белых офицеров“. Среди них образовался отличный кубанский хор казаков в 40 человек, который, как и все остальные пленники, находясь все время за проволокою концентрационных лагерей или за каменными стенами заточения, служил общим моральным облегчением для заключенных. Местные власти вызывали довольно часто хор давать свои концерты на разные заводы.

Хор пел хорошо. Голоса были отличные, а сиротливость, неволя и чуждавшаяся неродимая сторонюшка толкали его на то, что репертуар хора составлялся исключительно из казачьих песен.

С потертыми шапочками и душами, смуглые от горестей и грязи, в обтрепанных гимнастерках и бешметах, затянутые голодом и поясами... хор пел и „Закувала“ со своими вызывающими к борьбе

Козацтво гуляе, гуляе
І нас виглядає...

и классическими „Кайданами...“ и

Ой, ты Боже, милосердний... и
Гуде вітер...

Плаче казак молоденький,
Долю проклинає... и
А вже літ більш двісті
Як козак в неволі

... ..
Де побачиш воріженька
Там і ріж...

И пел много-много других казачьих песен, явно „контр-революционных“ и патристических казачьих, но ни разу не пел на концерте

Ты, Кубань, Ты наша Родина...

И никогда „Ее“ не только не помещали в свой репертуар, который всегда предвзвременно шел на просмотр и утверждение комиссара, но у хора и мысли даже об этом не было, т. к. все считали, чувствовали, осознавали, что это не была лишь простая песнь, Войсковая, и любимая всеми кубанцами, но это было что-то больше, выше, глубже...

Все знали, что это был гимн наш, Кубанский Войсковой, который петь там не только не уместно, но и нельзя, это было бы кощунством.

Это чувствовали и комиссары и слушая ее ненароком, издали, когда мы певали ее интимно, у себя, после вечерней ежедневной переключки — они молчали.

В кровавой борьбе Казачества с красным севером — обе стороны знали, что эта песнь молитва приобрела в сердцах кубанских казаков значение Войскового гимна и служила им моральной поддержкой во все их жуткие моменты жизни и активным двигателем на вооруженную борьбу.

За свой казачий порог и угол.

До 1930 года, я, не бывший на Лемносе, понимал, мыслил, биением своей души ощущал эту песнь-молитву, как законный и утвержденный Кубанскою Краевою Радою „Войсковой гимн Кубанского Казачьего Войска“ и ревниво оберегал его от лишних или неуместных воспеваний и, в особенности, в малодостойной обстановке и болел душою, надрывался сердцем, когда слышал этот столь трогательный и родной наш мотив и обязательно с искажением его четырехстиший из уст чужих, посторонних Кубани людей, которые вкладывали в нее не душу, а просто голосовые связки.

Так я ровно 10 заграничных лет жил и мыслил, пел сам и поучал других, радовался и страдал, плакал и молился

Ей, нашей Кубани-матери, олицетворял Ее словами ее гимна:

Ты, Кубань, Ты — наша Родина
Вековой наш Богатырь...

пока с мучительной горестью не узнал, что в шквале нашего разрушительного безвременья, эта песнь-молитва не была утверждена Краевою Радою, как гимн, а

посему это только — Войсковая песнь, любимая кубанцами, которой — оказывают почести как „Гимну“ до возвращения на Кубань...

Взбодораженный и придавленный таковым открытием, я написал брошюру „История Кубанского Войскового гимна“, в которой указал причины и мотивы автора, полкового священника 1-го Кавказского полка, отца Константина Образцова, давшие ему толчок выразить задушевные переживания Кубанского строевого Казачества в его затаенных думках о своей Родине-Кубани еще тогда, в Императорской России, в 1915 году. Столь чуткий разбор этих думок буквально схватил за душу всех кубанских казаков. Каждый из них, в этой молитве-песни увидел, познал в ней самого себя всего, всего безо всякого покрывала, — почему в дни жесточайшей борьбы за свое казачье бытие, оно, Кубанское Казачество, просто, открыто, внутренним своим откровением, инстинктом своей души сказала, вывило, что это

„Гимн... наш Кубанский Войсковой“...

Гимн — греческое слово и означает: петь, славить, хвалить.

В древности, в нем прославлялись Боги и герои и пелся он при торжествах и жертвоприношениях.

Национальный гимн — это торжественная песнь, славящая: в странах абсолютизма — главу ее (короля, государя) и отчасти родину, а в странах парламентарного строя — только — родину, народ.

В гимне лучшая народная поэзия. В нем лучшие национальные чувства народной души, вложенные в ее музыку, в ее содержание. Гимн — это порыв, это мощь, это — зажигатель сердец.

Гимн это духовный культ, к чему все стремятся или уже пришли, и который бывает только „один“... один на все государство, нацию и с пением которого идет на смерть...

Вот что такое „Гимн“.

В дни недавней борьбы Донское Войско, главное и могущественное среди всех казачьих Войск, базируясь на исторические данные о своем прошлом, и оценив политическую обстановку — объявило себя суверенным государством. И, как следствие такого решения, установило свой Донской государственный: герб, флаг, гимн, присягу своему Донскому Войску, — все, как необходимые атрибуты всякого самостоятельного государства, разослав свои зимовые станции (посольства), куда нашли нужным и полезным...

А для реального закрепления своих выводов и решений — Донское Войско создало свою Донскую Казачью Армию.

Все было проделано так понятно и так естественно. Я только могу спросить читателя: могла бы третья сила войти в Новочеркасск (как вошла в Екатеринбург), разогнать Войсковой Круг, арестовать неугодных депутатов и главного из них — повесить на соборной площади?..

Кубанское Войско, первое по могуществу и силе после Донского, но гораздо богаче его своими естественными богатствами, своей Армии не создало...

Отсюда и вытекли все тогдашние беды и несчастья, вплоть до того, что богатейший хлебом Край со своими портами на Черноморском побережье, — а его краевое правительство, будучи не полным хозяином своего положения на своей территории и не обеспечив себе тыла, голодом заморило свои Кубанские Войсковые части на том-же Черноморском побережье...

И как и еще один мелкий щелчок: в Париже, некто Скрыбин, напевая своим хором-оркестром грамофонные пластинки, аранжирует Кубанскую Войсковую песнь-молитву, наш гимн, так, как ему это нравится для выгодной продажи (см. журнал „Кавказский Казак“)...

С гимном, конечно, так не поступил-бы никто, хотя бы из чувства простого такта.

Песнь, или гимн?!

Разрешится это по возвращению на Кубань... А пока — прошлое кануло, настоящего нет и... живи без „бога“ в застрадавшейся душе...

Песнь, или гимн?!

Кубань — в мареве, Верховного хозяина ее — Рады — нет. Но, можно ли так оставаться?

Единственный ответ: нет! Мы могущие свободно здесь выражать свою мысль и волю, мы — активные участники борьбы за свое казачье существование, мы имеем право, мы должны, мы продолжаем нести свой священный освободительный светильник с драгоценным казачьим пламенем до своей казачьей отчизны, — мы в нужных случаях должны говорить свое слово.

Песнь, или гимн?!

Учур Алексева.

Под властью красных.

Личные переживания.

Минуло одиннадцать лет с того времени, как наша донская конница в заснеженных заманыческих степях, мужественно преодолевая величайшие трудности — голод и холод, то отступая, то наступая неоднократно разбивая многочисленных красных противников, — горделиво сражалась с красными „за свой порог и угол“, „за казачьи вольности, за честь казачью, неподкупную“.

В эти кошмарные дни, находясь в рядах своего родного Зюнгарского 80-го полка в качестве командира 4-го взвода 6 сотни, командиром которой был есаул Чеботарев (позже — сотник Д. Ремилев), в одну далеко прекрасную ночь я попал в руки своих смертельных врагов — большевиков, а затем пережил тяжелые, страшные (вместе с тем и радостные) дни своей жизни: попал в руки жестоких большевиков и служил у них — несчастье; побывал „там“, в родных станицах, вдыхал воздух родной степи, видел милую и дорогую картину жизни, встречался с своими братьями — счастье.

Теперь, живя здесь, в изгнании, испытывая тяжелые моральные и материальные бедствия, но в сердце своем сохраняя неугасимую любовь к своей Родине, так тяжело страдающей в окровавленных руках московских красных палачей, — я нахожу утешение и опору в том, что я — один из последних калмыков, дышавший родным воздухом, наслаждавшийся картиной бесконечно дорогой нам жизни, видевший тяжкие страдания своего народа на своей земле под властью пришельцев.

Ныне друзья и приятели мои настаивают, чтобы я рассказал, как могу, о своих злоключениях у большевиков, о тех мучениях и страданиях, пережитых лично мною, а также и моими друзьями по несчастью. Уступая этому настоянию, я думаю рассказать здесь о своих злоключениях в большевицком плену. Рассказывая о них так, как они сохранились в моей памяти, никоим образом я не желаю впадать в область излишних восхвалений или обвинений, памятуя, что „Бог правду любит“. К моему глубокому сожалению, в бытность мою у красных, я никак не мог вести никакой записи: делать это мне, „белому арестанту“, было невозможно.

В 1920 году попал в плен к большевикам, в том же году мне с несколькими друзьями удалось бежать от красных, попасть в Крым в „стан белых“, пережить крымскую катастрофу, „константинопольскую эпопею“... И вот уже 11 лет скитаюсь по чужбине. Одиннадцать лет — не малый срок. Естественно, многое из того, что пришлось видеть и переживать, изгладилось из памяти, а потому и рассказ мой будет далеко не полным, отрывочным.

В первых числах февраля 1920 года, после продолжительных и известных всем нам боевых столкновений с красными в районах с. Проциковое и Веселое, после многих удачных и героических контр-атак, наш 80-й Зюнгарский калмыцкий полк, под командой полковника Г. Э. Тепкина, получив распоряжение двинуться на Тор-

Этот вопрос должен разбудить у каждого из нас его гордость и заставить заколотать ее...

Пусть сами казаки выскажутся что это:

Песнь, или гимн?!

В борьбе, в острые моменты жизни, когда решается вопрос: быть или не быть, — его следует ставить резко, определенно. Конечная цель должна быть указана точно и ясно.

И наше мнение, выношенное в долгих наших думах и горестях и обильно политое казачьей кровью благодарной да горючими вдовыми и сиротскими слезыньками бесчисленных десятков тысяч наших родных и ненаглядных казачек-страдалиц, что это — Гимн наш Кубанский и уже исторический. Гимн, наш привывный Стяг к освободительной борьбе и единственный символ настоящего Единства всего Кубанского Казачества.

говую, в страшную и памятную для всех зимнюю стужу на Маньче — направился на Торговую, встречая на пути массу преград. Цель похода — разбить Буденного, по неспособности старика Павлоға не была достигнута.

5 февраля, переночевав кое-как в скирдах заманыческих коннозаводчиков, где нам пришлось всю ночь „танцевать“, есть мерзлое мясо, чтобы преодолеть 20-ти градусный мороз и страшный голод, утром, 6-го, полк наш направился, как говорили, по направлению к сл. Лопанке, где предполагался отдых после продолжительных и утомительных походов по снежной заманыческой степи, во-первых, а во-вторых — встретить там наступавший тогда наш национальный праздник „Цаган“. Цель этого „похода“ радовала весь полк, ибо сулила заслуженный отдых и радостную встречу с своими отцами, матерями, женами, сестрами и братьями, так как по сведениям, доходившим до нас, в Лопанке стояли наши беженцы.

Линия фронта — Торговая-Воронцовка — осталась позади, мы шли в „глубокий тыл“ на отдых, что не могло не доставить радости казакам, дошедшим до последней степени измождения.

Часов в 7½ вечера того же дня полк прибыл на полустанцию „Цилина“, где предполагалось сделать маленький привал. Но к нашему великому огорчению, на этом полустанке, где имелось маленькое вокзальное здание и три-четыре дома для железно-дорожных служащих, не было никакой возможности устроить отдых для всего полка, в силу чего полк, без отдыха, двинулся дальше — на Лопанку... Проехав 7-8 верст, мы снова наткнулись на какие-то здания и сараи, мимо которых лежала наша дорога. Это была экономия коннозаводчика Чернова. И на этот раз полк не остановился, ибо командир полка, полк. Тепкин, передал по колоне приказание: „не отставать от полка, Лопанка не далеко, всего 5—6 верст“. Но не взирая на такое „ангельское“ приказание командира полка, о неисполнении которого сожалею я до сего времени, отставших нас было много, ибо искушение войти в какую нибудь хатенку, отогреть свои оочевенные конечности — было велико. Я лично, хотя и находился взводным, но не спешил за полком, так как взвод был поручен моему помощнику — приказному еще с японской войны — Онда Ульцынову, а засиделся с товарищами, покуривая папиросу за папиросой, в теплой и уютной квартире заведывающего Черновским добром.

Таким образом немного отогревшись, я с своими казаками, Г. Бальковым (Батлаевской станицы), Б. Ивановым (Платовской ст.) и четвертым из другой, неизвестной мне сотни, но помню хорошо — Денисовской ст., выехал из экономии. По пути к нам присоединились еще четыре конных, в числе коих я узнал своего соотенного вахмистра — подхор. Шогул Джамбинова, двух доццов, служивших у нас в штабе полка ординарцами,

фамилии коих, к сожалению, не помню, и одного калмыка, старика лет под 60, Платовской станицы. Нас собралось восемь человек. Ночь была темная, хотя и снежная, с сильным северо-восточным ветром. Оказалось потом, что степная мятель некоторым из нас напевала свою последнюю песню...

Проехав минут двадцать от экономии, наш вахмистр Джамбинов вдруг остановился и, кое-как приспособившись на коне, зажег спичку, чтобы посмотреть на часы. Стрелки показывали — без 20-ти минут 12 часов. А свежий след по снегу нашего полка так был ясен, что мы были в полной уверенности, что вот-вот нагоним свой полк. Но беда, окончившаяся несчастьем для всех нас, явилась со стороны старика-калмыка, который настаивал следовать за ним напрямик, без дороги, что — говорил он — очень ускорит наш проезд в Лопанку, так как, по словам его, он за долгие годы не мало проездил вдоль и поперек всю заманчскую степь.

Не подозревая о заходе красных нам в тыл, мечтая скорее попасть в полк, мы согласились с нашим проводником и двинули на прямую. Ехали рысью. Нам показалось, что мы едем что-то долго, но, наконец, после долгой и неправильной дороги, впереди показались первые огоньки, дальше и лай собачий.

— Ну, слава тебе, Господи, приехали! — оживленно-радостно заговорили все.

Вахмистр наш снова, при помощи спичек, посмотрел на часы и сказал: „уже час ночи“.

При въезде в Лопанку (с запада, как теперь представляю) ни одна душа нас не заметила и мы спокойно разехали по дворам, разыскивая каждый свою согню, так как все мы были уверены, что полк наш уже разместился здесь. Я с подхорунжим Джамбиновым и моим станичником Г. Балыковым остановился у одного двухэтажного дома, в котором ярко светился огонек, решая вопрос — как и где найти свою шестую согню.

— Давайте в этом доме спросим — где и что? — сказал Г. Балыков, и мы трое заехали во двор. Слезли с коней, которых привязали под навесом с какими то другими лошадьми, в полной уверенности, что они нашего полка. Ни на минуту не предполагая, что мы уже в руках спящих большевиков, подошли к дверям нижнего этажа дома и стали стучать, приказывая скорее открыть нам дверь. Кто-то откликнулся, спрашивая: „кто там, какой части?“

— Свои, Зюнгарцы, 80-го калмыцкого полка, — отвечаем. После нашего ответа голос замолчал и не прошло пяти минут, как вдруг 5—6 вооруженных до зубов солдат, с ручными гранатами, оцепили нас и закричали: „сдавайся, руки вверх!“

Нас охватил ужас, мы прямо обалдели. Мы были настолько уверены, что приехали к своим, что вахмистр наш и теперь не хотел верить и крикнул: „что вы делаете, станичники, ведь мы — не красные, а Зюнгарцы! Наш полк здесь!“ Но какой то красный храбрец тут же, в упор пувист пулю из нагана, раздробил череп вахмистра Ш. Джамбинова. Он упал среди озверевших красных, двое из коих сейчас же бросились шарить в карманах убитого и при этом, как я погом узнал, эти два мародера чуть не подрались из за раздела „военной добычи“, извлеченной из карманов убитой им жертвы. У вахмистра, как я знал, были: серебряные часы, два золотых кольца, несколько штук старинных золотых монет и новый самовзвод-наган.

Меня и Г. Балыкова, оглушив ударами прикладов наших же винтовок, красные повели туда, где спали. При входе туда большевики заорали на нас: „скидай шинель, раздевайся, белогвардейская сволочь!“

Смерть подошла вплотную, сопротивление бесполезно, надежд на спасение нет... Мы скинули свои шинели, а у меня под шинелью, как знал весь наш полк, был английский френч (офицерского покроя) с погонами с нашавками вольноопределяющегося 1-го разряда, старшего урядника-разведчика и георгиевский крест 4-й степени на груди.

— Вот тебе на!... Молодой офицерик! (Мне было тогда 20 лет), — посыпалось со стороны красноармейцев.

— Сколько смертей наших товарищей стояли твои подвиги, за которые ты получил эти свои бображуски? Сколько наших товарищей ты убил, признавайся!

— Ни одного, товарищи, я молод, нигде не принимал участия в боях... Я ученик, все время учился... Справьтесь у своих... Мой родной дядя служит у вас, некто О. И. Городовиков, — стал отвечать я, надеясь защититься в эту страшную минуту именем этого калмыка, который мне родственником не доводился, но который с самого начала служил у большевиков, и теперь состоял у них начальником конной дивизии.

— Врешь! Говори правду... — начал было один из красноармейцев, но ему не дали докончить: стоявший рядом с ним красноармеец ударом револьвера со всего размаха в лоб свалил меня с ног и я, теряя сознание, обливаясь кровью, упал...

Долго ли лежал так без сознания — не помню. Когда сознание вернулось я услышал над собой: „Эй, товарищ, вставай! Не бойся! Расскажи мне обо всем правду и подробно“. Преодолевая мучительную боль в голове, напрягая все свои усилия я приподнялся. Вокруг меня образовалась большая лужа крови, надо мною стоит человек высокого роста, которого раньше в комнате я не заметил. Оказалось, как мне тут же поспешили сообщить, что моего товарища по несчастью, Г. Балыкова, за то время, что я лежал без сознания, успели вывести во двор и „пустить в расход“.

— „Ну, говори, товарищ, где и откуда заходит ваш полк? Я — комбриг... смерти не будет, не бойся“, — заговорил человек высокого роста.

Мне показалось его обращение более человеческим, голос, слова — более вежливыми. Я решил рассказать ему, что знал, но так, чтобы не повредить своим... А в душе все же думаю: „кланяться тебе не буду, милости просить не стану — двум смертям не бывать, одной — не миновать!...“

— А сколько тебе лет? — спросил красный комбриг.

— Восемнадцать — отвечаю.

— Так ты совсем молод! Имеешь ли кого либо из родных?

— Да, имею только мать, она сейчас дома, а отец убит во время германской войны, больше никого у меня нет — ответил я, хотя отец и мать были живы и не дома находились, а ушли с „белыми“. Обращение „комбрига“, как мне показалось, стало еще более человеческим, в душе стала пробуждаться надежда на спасение. Чтобы еще более расположить к себе „комбрига“, я пустился на „хитрость“.

— Не знаете ли вы о судьбе моего дяди, родного брата моей матери, ушедшего с самого начала в красную армию? — спросил я его.

— А кто это такой? Как его имя и фамилия?

— Ок Иванович Городовиков, — отвечаю.¹⁾

— Как же! Знаю, знаю. Он наш хороший товарищ, красный герой — командует 4-й кавалерийской дивизией... Вы — его племянник?

И обращение „ты“ быстро и неожиданно для меня заменилось вежливым „Вы“. Интересная перемена! При нашей „дружеской беседе“ никого не было, только вдвоем мы находились в комнате. Всячески меня утешая, посоветовав раздеться, чтобы вымыть рану, кровь с лица, „комбриг“, оставив меня одного, куда то быстро выбежал. Скоро он вернулся и привел с собою фельдшера-красноармейца, который быстро перемыл мою рану и перевязал мою, от удара большевического револьвера, опухшую, как тыква, голову, что мне принесло большое облегчение.

Утром, 7-го февраля, я узнал, что мой вчерашний „спаситель“ был, действительно, командиром 3-й бригады 6-й кав. дивизии 1-й Конной армии Кавказского фронта, именовавшимся тов. Максимовым (Москвич) — бывший штабс-капитан старого времени. Он был высокого роста, с правильными чертами типичного русского лица. Обращался он со мной предупредительно, ухаживал за мною, несмотря на то, что я ему вчера был смертельным врагом. Немедленно распорядился о выдаче мне

¹⁾ Большевики называют его „Ок“, а калмыцкое его имя Аку.

обмундирования, как то: новую английскую шинель, френч, совсем новые сапоги, нательное белье, шапку и т. д. Словом, одели меня с ног до головы. Такое обращение все больше укрепляло мою надежду, что я спасен; от этого сознания мне становилось радостно, хотя я никогда не думал сдаваться красным, будучи с малых лет добровольцем „белого движения“. Но тогда я искренно молился Богу, что остался жив...

7-го февраля был наш калмыцкий национальный праздник „Цаган“. В этот день в час дня я вышел посмотреть на свет Божий и заглянул, первым делом, в тот сарай, где мы ночью оставили своих лошадей, на которых только вчера еще служили в рядах родных нам зюнгарцев! Но лошадей там не оказалось... Прошелся дальше по двору, вышел на улицу, посмотрел в сторону церкви. На ее площади увидел толпящихся вооруженных до зубов красноармейцев среди наших калмыцких беженских подвод, путь дальнейшего отступления которых был перерезан неожиданным ночным налетом большевиков. Броситься сразу туда и посмотреть, что там делается, я не мог. И меня там могли принять за беженца и озверевшие красные солдаты быстро могли разделаться со мною. Надо было иметь какойнибудь „письменный вид“. Вернулся в дом, пошел к своему „спасителю“ и попросил разрешения выйти на церковную площадь. Он разрешил пойти, добавив, что бы я ничего не боялся.

Пошел. Пришел на площадь. Стоят без коней и быков много много подвод, везде и всюду пораскиданы калмыцкие сундуки, всякая одежда, домашняя утварь, а между подводами, то в одиночку, то целыми группами лежат раздетые трупы убитых мужчин, женщин и детей... Молодые женщины со следами гнусного насилия... А красные солдаты и местные жители еще усиленно „работают“: разбивают уцелевшие сундуки, растаскивают еще уцелевшее калмыцкое добро.

Под раз'езжающими по площади красноармейцами я увидел вчерашних наших коней; но моей серой кобылицы не было среди них. Мысленно задаю себе вопрос: „где же вы, черти красные, подевали настоящих владельцев ваших четвероногих пленников? Не отправлены ли они по следам Джамбинова и Балыкова“, ибо я ничего не мог узнать о судьбе остальных моих товарищей по несчастью, ночью отбившихся от нас.

Иду обратно. Встречается один старик, местный житель, несший на плечах ручную швейную машину. Спрашиваю о калмыках, что стало с ними. Старик, указывая на землянку по правой стороне улицы, говорит: „види в эту хату, там ваших много, может из твоих кто там есть“. Побежал туда. Вхожу в землянку, где красноармейцы, пригнав наших беженцев-калмыков, делали свое дело по практическому осуществлению „социализма“: шарили по карманам, требовали и отбирали кошельки, кольца, браслеты и прочее, а над молодыми женщинами и девчанами, тут же на глазах у всех совершали свое „красное“ и гнусное насилие.

При моем появлении красноармейцы набросились на меня: „а ты откуда? Раздевайся, давай свой кошелек!“

— Что вам, товарищи, нужно? Хотите от меня получить деньги? Тогда идите получать их в штаб 3-й бригады! Отдайте обратно все взятое у этих невинных беженцев! — резко обратился я к ним, решив в душе, что мне один ответ, одна смерть, но чтобы на моих глазах дьяволы красные не издевались над ними, моими братьями, сестрами. Мое указание на штаб бригады и мой решительный тон подействовали на красноармейцев и они уже совсем смиренно спросили: „какой части?“

— Из штаба бригады! Вон отсюда! — строго и решительно крикнул я на них.

Солдаты, оставив свое гнусное дело, быстро ушли прочь. Среди беженцев из моих станичников никого не было. Были в большинстве платовцы, граббевцы, бурульцы и др. Из Бурульской станицы был старик Кузьма Абушинов с семьей, из Платовской станицы была знакомая мне женщина, Бичкендэ Тапкинова, а остальных не помню. Обращаясь к своим на своем родном языке, объясняя им, что я только вчера попал в плен. Рассказал им все с начала до конца. Они уди-

влялись — как я мог остаться жив. Говорили, что я спасся именем Городовикова. Тут же выражали свое опасение: „а что, если сам Городовиков не согласится с этим“?

— Для меня все равно! Пусть расстреляют, убьют, — отвечал я им. Спрашивал, что с ними делали красные? Они не находили слов для объяснения того, что с ними было. Одна женщина говорила, что у нее расстреляли мужа и невестку; другая говорила и плакала что у нее убили сына и двух дочерей от 14 до 18 лет. То, что они рассказывали, было сплошным ужасом и трудно было поверить, что такие вещи могут творить люди! Эти „дела“ никак нельзя было совместить с человеческим образом!

В четыре часа в тот же день мы покинули Лопанку, направляясь в следующую свободу, Лежанку, и я с ужасом видел трупы калмыков, расстрелянных большевиками, как по улицам Лопанки, так и по дороге в Лежанку. Всюду кровь, кровь и кровь! Свеже выпавший чистый белый снег и свежепролитая красная человеческая кровь!

Вечером 8-го февраля приехали в Песчанокоскую, где, переночевав, на другое утро спешно „драпали“ обратно в Лежанку и Лопанку, ибо Песчанокоская была занята тыловым набегом казаков. Но так как я оставался в штабе бригады, о результатах этих боев здесь не знаю. Только помню, как „комбриг“ тов. Макшмов, по возвращении из боев, хвастался и рассказывал: „столько то убили, столько то взяли в плен“. Слушая рассказ о победах красных, сердце мое обливалось кровью, я искренно презирал „краскома“, но в душе утешал самого себя: „врешь! Не хвались, вперед Богу помолись!“

Утром 11-го февраля мы выехали из Лежанки и снова приехали в Песчанокоскую, где в этот же день, по прибытии двух красных дивизий (4 и 6-я кав.), я был отправлен к начальнику 4-й кав. див. — к „своему дяде“ Городовикову. Сопровождал меня до места вооруженный красноармеец, который, оставив меня во дворе, доложил о моем пленении и сохранении, как племянника своего уважаемого начдива. В ожидании своей участи дрожу от страха.

Вдруг солдат приглашает меня войти. Вошел в помещение и вижу: сидит один калмык с худощавым лицом, с черными усами, без двух зубов в нижней передней челюсти, которого раньше я в жизни не видел и не знал, с двумя типами, видимо, тоже из начальников и, расставив карту, что-то серьезно обсуждают, очевидно план предстоящих военных действий. Оказалось, что это и был „сам“ Городовиков.

При входе я невольно чуть заметно поклонился. Городовиков пристально посмотрел на меня и на калмыцком языке сказал: „мендэ кевюн“ — „здравствуй молодой человек“. Какой ты станицы? Чей ты есть?

То, что Городовиков со мною сразу заговорил на калмыцком языке, меня сильно ободрило и я поспешно стал отвечать ему на том же своем языке:

— Батлаевской станицы, Алексеев, сын Давы Амлановича...

— Ну, садись и расскажи; отец и мать живы ли и где они? и тут же об'яснил своим товарищам, что мой родитель был его хорошим другом и выразил сожаление, что отец мой убит под Воронежом еще в 1919 году, о чем я уже успел дать ответ на его вышеприведенные вопросы.

Городовиков спрашивал много и очень интересовался существованием, работой столь энергично и настойчиво, по его словам, действовавшего в схватках с его дивизией, нашего Зюнгарского полка. Со злобою и ненавистью говорил о калмыцких офицерах, которых он, Городовиков, знал лично. На все его вопросы я до некоторой степени отвечал машинально, часто говорил „не знаю“, так как объясняться с ним на своем родном языке было мне легко. Тут же я был свидетелем того „смертного приговора“, какой „вынес“ Городовиков над всеми калмыцкими офицерами, участвовавшими в „белом движении“. Он, обращаясь к своим двум товарищам, сидевшим с ним, матюкаясь в Бога и во все, как это принято у большевиков вообще, злобно сверкая глазами, скрежеща зубами, с лихорадочным вол-

нением говорил им, что если в их руки попадутся из калмыков офицеры: Б. Шарманжинов, А. Сарсинов, С. Пантусов, Д. Урусов, Сельнинов, Б. Нимбирков и др., то не трогать и не убивать, а препроводить в его распоряжение и здесь то он, Городовиков, сам будет „разделяться“ с ними. С дикой ненавистью он рассказывал своим друзьям о том, как первый из упомянутых выше лиц, командуя дивизионом в 1919 году на Воронежском фронте в одной из атак, разбив его полк (тогда Городовиков командовал красным полком), чуть чуть не поймал его самого и он отлично видел, как за ним гнался с диким ревом есаул Шарманжинов.

После продолжительных расспросов, Городовиков назначил меня писарем в свой штаб. Смерть прошла мимо, но совесть терзала, душа тянула в свою родную станицу — хоть мельком посмотреть в истерзанные и протоптанные красной конницей наши родные станицы и хутора. Но, ничего не поделаешь!

Простояв в Песчанокопской до 13 февраля, штаб дивизии, где я уже „писарил“, двинулся на ст. Тихорецкую. Во время этого перехода, возле ст. Кушевской, я был очевидцем большевических зверств над калмыцкими беженцами: мужчин, женщин и детей прямо расстреливали на месте, а молодых женщин и девиц брали с собою в седло, увозили в соседнюю будку железнодорожного сторожа, где изнасиловав, надругавшись целыми группами, „по-взводно“, хладнокровно и беспощадно убивали на месте. Среди расстрелянных здесь я узнал С. Трушкина, моего станичника, у которого были выпущены внутренности, разбрызган мозг. Как

сегодня помню один случай: когда мы ехали из Кушевской по направлению к Тихорецкой, встретила по дороге одна интересная, молодая девушка лет 16-17 с измученным лицом, еле двигающаяся, у которой, очевидно, физическую боль от солдатских надругательств заглушал стыд и позор за „содеянное“ над нею... По близости совершенно никого не было. Очевидно, она не знала — куда идти. На мой вопрос — какой станицы? — назвала Граббевскую, была отбита от своих красными, у которых „жила“ двое суток. Не было надобности спрашивать — какую дорожную „цену“ заплатила она за эту двухдневную „жизнь“ у большевиков! Бедняжка просилась к нам на тачанку, чтобы мы ее подвезли к какому нибудь населенному пункту.

Я стал просить своих попутчиков — помочь ей, но к моему глубокому сожалению, мои „красные товарищи“ категорически отказались от оказания помощи и мне ничего не оставалось, как, снабдив ее куском сала и хлебом, подробно указав дорогу, направить ее на Кушевку. Бедная, поруганная дочь Степи, невинная страдалница, солдатским хамством раздавленный нежный полевой цветок, тихо и понуро поплелась по указанной мною дороге. Куда она пойдет, где она найдет защиту, приют, слово утешения? Не встретится ли ей новый хам по дороге, не совершит ли над нею новое дьявольское надругательство? До боли было мне жаль ее; проклиная в душе большевиков, долго я смотрел вслед за ней, пока она не скрылась за горизонтом...

(Окончание следует).

А. Литовкин. *(Греция).*

Несостоявшийся поход.

(К истории казачьей эмиграции).

Одно время, мы эмигранты, были очень густо представлены в столице Турции. В этот острый и трагический момент, когда еще можно было думать, что отчаявшиеся люди, ничего не видящие перед собой доброго и определенного заграницей, согласятся снова взяться за оружие и пойти на красные рати, против которых однажды уже не устояли, — мне пришлось встретиться в Константинополе с известным екатеринодарским присяжным поверенным С. Е. Н-ки, который строго конфиденциально сообщил мне, что его посетил ген. Покровский и развил ему план наступления на Кавказ со стороны Батума, при чем предложил г-ну Н-ки один из министерских постов при себе.

Я позволил себе высказать глубокое убеждение, что с одной стороны, при наличии у противника неисчерпаемой людской массы и запаса храбрости торжествующего победителя, с другой стороны, — крайне ограниченного количества людей у наступающих при недостатке всевозможных припасов, а также при наличии последнего резерва — храбрости отчаяния — едва ли можно спасти таким путем то, что утрачено при гораздо лучших условиях.

Затем, я заинтересовался — почему ведется разговор на подобную тему со мной. На это последовал ответ, что Покровский не желал бы действовать, не организовав аппарата, который избавил бы „главнокомандующего“ от хозяйственных, административных и проч. забот об „армии“ (род министерства). Поэтому явилась нужда в подборе соответствующего кадра людей... Не считая попытку серьезной, наоборот, — боясь ненужных жертв людьми, из которых многие может быть и до сего времени благополучно здравствуют, я ничего не сказал, в расчете попасть на организационное совещание и там изложить свой взгляд на вещи. Каково же было мое изумление, когда на другой день после беседы, адвокат Н-ки мне решительно передал, что моя кандидатура (которой я вообще не выставлял)

в „особое совещание“ при ген. Покровском совершенно не подходит, ибо я ориентируюсь „на другого генерала“.

Не могу не оговориться, что до или после этого сообщения (хорошо не помню), в Константинополе, на Petit Champ, случайно, я встретил этого „другого генерала“ и он еще издала, как бы шутя, сообщил, своим спутникам: „Вот человек ориентации Покровского“... (Если бы жив был так несвоевременно умерший третий генерал — Н. М. Успенский — он с бдлившим основанием мог бы говорить о моей ориентации)...

Однако, к теме: Выслушав сообщение г-на Н-ки, я заявил категорически, что на кого бы я не ставил ставку в прошлом, меня сейчас совесть обязывает сказать, что это — новая авантюра и ставка на кровь без малейшего шанса на успех и что потерянного нами таким способом не спасти, — следовательно, надо искать склонных к ратным авантюрам людей, благо, их тогда не мало было в Константинополе...

Переговоры прекратились...

Что делалось дальше — совершенно не знаю. Во всяком случае, „предприятие“ кончилось неожиданно: ко мне зашел молодой офицер, екатеринодарец Мяч, и со скорбью и обидой сообщил, что ген. Покровский неожиданно уехал, даже не простившись с ним, как своим последним адъютантом...

Так непонятно закончилась эта попытка возобновления гражданской войны в расчете на „гений руководителя“, но — не на реальные возможности, силы и средства. Не убежден, но думаю, что ген. Покровский в данном случае повторил тот же опыт, который он делал накануне насилия над Радой: с военными он особенно не советовался, считая себя почти непогрешимым в делах военной компетенции, и устраивая свою моральную и политическую базу за счет подобия министерства, — что ему в Константинополе удалось еще хуже, чем в Екатеринодарском особняке Х. И. Фотиади...

Думы и мысли.

Ив. Томаревский. (Болгария).

Без воли.

Казак без воли — не казак,
А лишь название пустое,
Он будет по просту батрак
Холоп бесправный и не боле!
Мотайте ж на ус, казаки,
И разбирайтесь в этом деле —
Свободным быть ли на степи,
Или армо носить на шее?

Еще ответ Шанхайцам — далеким и близким.

Многоуважаемый г-н редактор, прошу Вас поместить на страницах журнала „В. К.“ нижеследующее: В номере 12 журнала „Родимый Край“ за 1930 напечатано постановление казачьего союза в Шанхае от 28 сентября 1930 года, в котором г. г. Шанхайцы повествуют всему миру о своей преданности матушке России, а главное, что в Шанхае из казаков нет ни одного самостийника. Не большая прибыль для матушки, что в ее совершенно развалившиеся ряды прибавилось еще 45 выродков из казаков, а так же малозаметная убыль и в рядах вольных казаков: „пустая трава с поля долой“. Обидно только то, что эти г. г. перевертны, да еще все чиновные, до настоящего времени не потрудились осведомиться — изучить, что стоило казачеству удовольствия быть якорем русского государства.

Служа на должности станичного атамана в одной из станиц Войска Донского бесценно с 26 марта 1906 года по 26 марта 1917 г., я хорошо узнал цену якоря. Поэтому мне хочется поделиться как с моими братьями настоящими вольными казаками, так и казаками шанхайцами. Моя станица состояла из поселения самой станицы и 26-ти хуторов. Народонаселения было 15160 душ обоего пола, юртовой общественной земли числилось 115000 дес. за вычетом земли, находившейся под лесом, лугом, толокою, песками, реками, озерами, шляховыми, проселочными дорогами и оврагами. Пахатной земли причислялось на казака с 17 летнего возраста по 10 дес. Из этого количества было $\frac{1}{3}$ удобной, а $\frac{2}{3}$ среднее и мало удобной земли. Земля никогда не превышала 3 руб. годовой арендной цены за одну десятину. Значит, весь земельный пай казака не превышал стоимости 30 руб. в год. Так продавалась земля с аукционного торга за снаряжения казаков, так она сдавалась на один год в аренду добровольно казаками. Кроме этого каждый казак пользовался паем леса и травы, на которые цены колебались ежегодно от 5 до 10 руб. в год. Возьму высшую цену — 10 р. да плюс земельный пай 30 руб.; стоимость казачьего годового пая в год будет 40 руб. Вот все то, чем казак пользовался от государства, если бы это довольствие и принадлежало тому государству, якорем которого так усердно желают быть шанхайцы.

А теперь подсчитаем, чем казак за это довольствие был обязан государству. По закону он обязан был служить царю и отечеству 20 лет. Эти 20 лет разделялись на три разряда: приговорительный — три года, строевой — 12 лет и запасный — 5 лет. Строевой разряд делился на три очереди, в каждой очереди казак служил по 4 года. Состоя в приговорительном разряде, перепись казаков готовилась к строевому разряду как в познании служебных обязанностей, так и к исправному выходу на службу в первоочередные полки и батареи. По достижении 18 лет казаки приводились к присяге, 19 лет они отбывали на собственных конях (годных к учению) с собственным снаряжением, обмундированием и оружием и на своем довольствии практическое учение при своей станице в течение $1\frac{1}{2}$ м-ца под руководством инструкторов (каковым я и был три года) и под наблюдением военного пристава или впослед-

ствии, под руководством офицеров, высылаемых на это время войсковым штабом. По окончании этой муштровки перепись казаков выходила под руководством тех же инструкторов в лагерный сбор на весь май месяц и опять на всем своем собственном иждивении. Туда же выезжал и станичный атаман с писарем и доверенным от об-ва. По окончании лагерного сбора эта перепись казаков начинала окончательно готовиться к выходу в первоочередные полки, а поэтому казаков вызывали на осмотр комиссией с приобретенными строевыми конями, предметами снаряжения и обмундирования на сборный пункт, каждый месяц два раза, — 1-го и 15-го — начиная с июля. На смотры не только вызывались казаки, подлежащие командированию в полки, но и их отцы, как ответственные лица за исправное снаряжение своих сыновей. Все эти военные транспорты с далеким от станицы хуторов (35—40 и 50 в.) под командой хуторских атаманов доставлялись в свою станицу, где сформировывались в один транспорт и под общей командой станичного атамана продолжали свой путь на сборный пункт. Некоторые станицы проделывали до сборного пункта 85-верстное расстояние. Станичный атаман командировался не один, он брал с собою военного писаря со списками, казначая с кассой и хвост одного доверенного от об-ва. Эти ешалоны по своей численности были разные и зависели от наряда в полки войсковому штаба, но они не были менее 50 казаков, были 100, 150 и 200.

Все эти практические учения, лагерные сборы, провочки казаков на сборные пункты, на осмотры комиссии два раза в месяц, потеря времени в течение 3-х, 4-х дней станичным правлением, хут. атаманами, казаками и их отцами, стояние атаманов и стариков отцов в вытяжку перед его выскоблагородием, без шапки с плешивой головой, с белой бородой по пояс, да еще на морозе 25-30°, аресты стариков за медленное исправление сына на службу, за неточное исполнение приказаний начальства, часто до одного месяца, проводы в январе м-це сыновей на сборный пункт, жизнь там с сыном, дрожание в течение 8-10 дней на смотрах за благополучный смотр, расходы там, — все это учесть невозможно. Скажу одно, что это стоило очень и очень дорого.

Те расходы казаков, которые производились ими на покупку коней и предметов военного обмундирования и снаряжения наличными деньгами, могу определить точно, ибо в течение 11 лет проходили через мои руки. Они были таковы: конь для казаков армейских полков и батарей — от 100 до 170 руб., для гвардейских — от 150 до 250 руб., седло с прибором, полагаемым по арматурному списку, — 53 р. 50 к.; обмундирование: два мундира с шароварами и набрюшник — 25 руб. 25 к., две шинели — 20 руб. 30 к., полушубок дубленых овчин, или крытый — 10 руб., теплая поддевка — 6 руб., теплая фуфайка с шлемом — 1 руб. 50 к., две папахи — 2 руб., две фуражки — 2 р., 2 гимнастических рубахи — 3 руб., две пары сапог — 10 руб., два башлыка — 3 руб., белье и другая разная мелочь по арматурному списку на сумму 10 р.; оружие: шашка — 8 руб. 30 к., портупей — 1 руб. 30 к., патронташ — 80 к., пика с погонным ремнем, наколочником и поножником — 50 к. Сумируя все эти цифры расхода, производимого на справку казака к военной службе в расчете за коня 150 руб. дают сумму — 307 руб. 45 к. Эти расходы произведены согласно арматуры, а сколько их было сверх нее — трудно учесть. И это в то время, когда лучшая пара волов стоила не дороже 150 руб.

Это личные расходы казака, а вот и общественные: по закону исправный выход казаков на царскую службу лежал не на одних казаках-отцах, а и на всем станичном обществе, которое и заботилось об этом, станично ежегодно необходимую сумму денег на исправление казаков, не имеющих возможности собственными средствами справиться своих сынов на службу, снаряжало таковых на общественные средства, а затем взывало затраченные деньги через продажу имуще-

ства казака, а если таким путем было взыскать нельзя, то через продажу его паевого кругового довольствия и тем разоряло окончательно хозяйство казака. Были и такие случаи, что если казак сильно обеднял то такого казака общество отдавало в работники к богатому и из заработной платы им суммы выручало его долг, ибо другого выхода к взысканию для пополнения общественных сумм не было.

Выяснив все несчастья казака по исправлению его к военной службе в первоочередные полки, считаю необходимым остановиться и на его службе в льготных полках. По окончании 4-х летней службы в первоочередных полках казаки спускались на льготу и зачислялись в полки 2-й очереди, в которых числились 4 года. Во время состояния в полках 2-й очереди казаки обязаны были иметь все то, что они имели и в полках 1-й очереди: содержать все в исправном виде и быть готовым к выступлению в поход по тревоге, согласно распоряжения окружного атамана. Этих казаков имели право хуторские атаманы в зимнее время вызывать на свою квартиру или к хуторскому правлению один раз в день на коновязь для уборки, т. е. чистки строевых коней. Конечно, это почти не исполнялось, но и исполнить такое приказание было невозможно, ибо казаки этого физически выполнить не могли. Кроме этого, казаки вызывались в свою станицу два раза в год на трехдневный осмотр окружной комиссией строевых лошадей, конского снаряжения, обмундирования, и опять же вытяжка перед начальством, то же унижение, то же оскорбление стариков со стороны начальства и те же аресты. Кроме того, эти казаки прежде вызывались каждый год в лагерные сборы, а последнее время перед войной — через год. Лагерные сборы казаки отбывали на своем иждивении. По окончании службы в полках второй очереди казаки перечислялись в полки 3-й очереди. Обязанности одни и те же, что и в полках 2-й очереди, только им тогда разрешалось продавать коней, но по случаю надобности они обязаны были приобрести их немедленно за свой счет, что и было, при объявлении мобилизации в 1914 году. На сборном пункте, за неимением средств у казаков, много было приобретено строевых коней для казаков 3-й очереди на сумму 18.000 руб. А так как станичных денег к этому времени в кассе было только 5.000 р. и они были израсходованы на приобретение недостающего обмундирования, то коней пришлось покупать у казаков же своей станицы под долговые расписки, каковые остались не оплаченными и по настоящее время. По окончании 4 лет службы казаков в 3-тее очередных полках они перечислялись в запас и в течение пяти лет не имели права растрчивать конское снаряжение, обмундирование и оружие.

Во время состояния казаков в строевом разряде они не имели права отлучаться из своей станицы без разрешения станичного атамана, который имел право отпускать казаков до 3-х м-цев по военному билету, в котором значилось, что этот казак состоит в таком то полку и по случаю мобилизации обязан явиться на такой то сборный пункт в 3-х дневный срок. В этом же билете значилось, что все управления и чины обязаны ему в этом „содействовать“. Вот с таким билетом казак не мог найти себе порядочной продолжительной службы или работы, ибо его не принимали нигде, и приходилось жить когда то вольному казаку, как поднадзорному, отбывшему тюремное заключение за тяжчайшие преступления.

Выяснив приблизительно разорение личного казачьего состояния от исправления его к военной службе и от состояния его под опекой России, перейду к выяснению тяжелого положения всего станичного общества, связанного со снаряжением своих казаков станичников к военной службе. Для того, чтобы обществу „удобнее“ было снаряжать при выходе станичников в первоочередные полки строевыми лошадьми, царское правительство не замедлило придти на помощь и милостиво божию было утверждено положение о станичных конноплодовых табунах. На основании этого положения станицы Войска Донского были снабжены войсковыми жеребцами-производителями, каковых в моей станице в мое время имелось 23. Для их обслуживания

общество содержало смотрителя табунов (каковым я был 3 года), платило ему жалованья 360 руб., ветеринарного фельдшера — 260 руб. и 18 табунщиков на жалованьи по 100 руб. в год — всего 1.800. Эти табунщики отбывали службу, как действительную, а смотритель и фельдшер, как сверхсрочно служащие. Для помещения табунной стражи и войсковых производителей общество имело казарму, конюшню с денниками, общий двор, двор для ворковой случки и сеник. Все это было выстроено за 6.700 руб. Для довольствия производителей общество имело табунный капитал, каковой изыскивало обложением с казаков, неспособных к службе, но способных к труду, с каждого 15 руб. в год (так было предусмотрено положением о табунах.) Недостающие суммы отчислялись станичным сбором из станичных сумм. Из этих сумм выдавалось жалованье и покупался овес; овса на зиму приблизительно покупалось от 1.100 до 1250 руб.; для сена отводилось в залидном лугу в самом лучшем месте 30 десятин. Сено это еще на корне расценивалось по 50 руб. дес., а это значит — 1.500 руб. да уборка его стоила обществу с доставкой в сеник 600 руб. Войсковые жеребцы стояли на зимовнике с 1-го сентября по 23 апреля, а затем выпускались с плодовым табуном на попас. Каждому производителю полагалось давать 15 маток. Таким образом, для 23 производителей нужно было обществу содержать 345 плодовых маток. Положением о табунах было указано, что плодовых маток должны выставлять зажиточные казаки по назначению хуторскими и станичными сборами. Так и делалось, а так как таких маток казаку домохозяину содержать, представлять ее в хорошем виде 3—4 раза в год на осмотр различного начальства, доставлять в табун и брать обратно при расформировании было сопряжено с расходами и различными трудностями, то таким домохозяевам общество давало в награду пай травы и леса, который ценился 10 руб. Эта награда обществу обходилась в год 3.450 руб. Для пастбы плодовых табунов обществом было отведено на одной из запольных речек 2.400 дес. лучшей юртовой земли, которая стоила в среднем 4 руб. за десятину годовой аренды, а это значит — 9.600 руб. в год. На этом попасе общество имело казарму, конюшню, баз для перевязки больных лошадей, стоившие 1.500 руб. Общество на попасе содержало сторожа для охраны построек и попаса от вытравливания посторонним скотом и платило ему 300 руб. в год. Годовой ремонт помещений обходился около 250 руб., отопление, освещение казарм и конюшен — 200 руб., покупка попон, недоуздов, узд, щеток, скребниц — 40 руб. Таким образом, на содержание табунов обществом затрачено: единовременно — 8.200 руб. и ежегодных расходов — 19.560 рублей.

Теперь мне бы хотелось, чтобы г. г. чиновные шанхайцы ответили: терпел ли какое разорение при выходе на службу русский солдат, знало ли или производило в целом мире какое либо общество такие расходы, чтобы сыновья этого общества служили отечеству поголовно, какая за эти невыносимо тяжелые затраты казакам была награда от государства, за которое так печалуются и ратуют г. г. чиновные шанхайцы и яко-рыми которого они хотят сделать казачество?

Вахмистр В. Донского Афонин.

Письма в редакцию.

I.

Глубокоуважаемый станичник редактор!
Прошу Вас поместить мое письмо ко всем братьям казакам.

Родные братья казаки!

Слава Богу, что мы — казаки! Слава и вождям Вольного Казачества, что они стали во главе нашего истерзанного, обескровленного и разрозненного Казачества. Слава им, что они объединили и подняли его на должную высоту. Слава им и честь, что они подняли и поднимают осмеянный и обманутый своими бывшими вождями наш казачий народ. Слава всему Вольному Казачеству, что оно борется за свое независимое ка-

зачье государство. Пусть здесь наши бывшие русские соотечественники и наши еще не прозревшие братья казаки скрежещут зубами на самостийных казаков. Пусть там рассказывают и выселяют казаков, но мы сильны своей казачьей идеей. Мы не погибнем!

Наши славные предки переживали не меньше нашего. Они также боролись за свою самостийность, как и мы. Так же жглись их станицы и руиновалась Сич. Так же скитались они по чужой земле, даже хуже: были в турецкой неволе и в кайданах.

Они стойко отражали сильнейшего врага от стен Азова и вписали красивую страницу в историю Казачества — Азовское сиденье.

На нашу долю выпало „Заграничное сиденье“. Будем же стойки, как наши предки, и впишем свою красивую страницу в историю Казакии!

А потому — выше голову, казак! Где бы ты ни был, держи связь с центром Вольного Казачества. Зови с собою своих соседей казаков. Поддерживай свой казачий журнал подписной платой, ибо это — наш казачий голос, наша казачья переключка, наша казачья правда, наша истинная история. В своем родном казачьем журнале „В. К.“ мы изливаем свою тоску, боль по Казачьей Земле и надежду на будущее.

Мой привет и поклон всем братьям казакам.

Вольный казак ст. Атаманской
В. В. Донского Я. Дулимов.

Бухарест, 17-VI-1931 г.

II.

Глубокоуважаемый станичник редактор!

Не откажите поместить в Вашем уважаемом журнале нижеследующее письмо.

Е. Б. Булавин.

Белый всадник.

(Казачья старина).

Время покорения Кавказа. В станице свадьба. На свадьбе, в обществе других гостей, „гуляет“ казак в белой черкеске, бешмете и белой шапке. Былолюдно. Вдруг прибегает посыльный из правления и передает приказание атамана казаку в белой одежде — сию же минуту отправиться с бумагами нарочным в отдел.

Не медля ни минуты, казак побежал домой, подседлал коня и поскакал в правление. Атаман, увидя казака во всем белом и на белом коне, спросил, почему он в таком несоответствующем наряде?

— Да, не хотелось переодеваться, — прямо со свадьбы, отвечал казак.

Получив несколько слов наставления, как быть „в крайнем случае“ с пакетом, казак отправился в отдел, заехав предварительно на свадьбу, выпить „стремяную“.

Сделав добрых верст 25, казак почувствовал сильную усталость и от дороги и, главное, от „стремяной“, да и конь основательно притомился, хотя и славился в станице одним из лучших и выносливых скакунов, чем по праву и гордился обладатель.

Переверзев (такую фамилию носил наш всадник) подумал: „Еще рано, полдороги сделано, немножко отдохнет конь, да и я; а там наверстаю“. И свернул с дороги к большому кургану. Миг — и казак на земле, конь стреножен и разнуздан. Конь жадно начал хватать сочную траву, а казак подошел под курган, сумку под голову и не успел даже подумать, как спал уже сном „праведника“.

Сколько спал казак, трудно определить, а только вдруг конь подошел близко и заржал. Казак быстро схватился, сразу понял все, долой треноги, взнуздан

Я, нижеподписавшийся, хорунжий Гундоровского полка, произведенный за боевые отличия в казачьей русско-красную войну. При эвакуации армии за границу мною утеряны документы, удостоверяющие мою личность, как хорунжего. Несколько раз я обращался к председателю Казачьего Союза Мельникову и атаману А. П. Богаевскому о высылке мне надлежащего удостоверения. Но на все мои просьбы я не получил никакого ответа. В прошлом, 1930 г., я послал на имя Донского Атамана „свидетельство о ранении, где указан мой чин, на основании которого я просил выслать удостоверение. Ответа тоже до сих пор еще нет.“

Из номера 8-го за 1930 г. журнала „Родимый Край“ я узнал причину молчания Донского Атамана. Атаман А. П. Богаевский объявляет, что „кадры казачьих частей входят в Общевоинский Союз, председателем которого состоит ген. Миллер“. Из этого видно, что нет уже и кадров казачьей армии, а только войсковые части, подчиненные не казачьему Атаману, а русскому генералу. Безусловно, что для таких малограмотных хорунжих, произведенных за боевые отличия, нет места среди просвещенных ротмистров и других русских чинов. Если дело приняло такой оборот и наш Атаман пренебрегает своими неграмотными казачьими офицерами, водившими в трудные минуты в бой свои казачьи сотни, полки и бригады, то нам, казакам, с ним не по пути. Нам нужно идти туда, где мы нужны, где нами не тяготеются, идти к своему родному вольному, не зависящему ни от кого Казачеству.

Хорунжий Т. Валуйсков,
ст. Милютинской, В. В. Донского.

Бухарест, 14-VI-1931 г.

коня и уже был в седле, но по коню заметил, что тот что-то чуёт.

Поднимаясь на курган, чтобы осмотреться, казак увидел группу всадников в 8 человек. Это была группа хищников черкесов, пробравшихся через Кубанские горы и едущих на добычу. Черкесы и вообще горцы народ суеверный, а если принять во внимание те времена, да еще всадника на белом коне, то станет понятно, что почувствовали черкесы, увидя, точно вышедшего из под кургана, „Грозного духа Мстителя“. Всю эту суть молниеносно мысленно охватил Переверзев и когда, на закате солнца блестя белизной, он поднял несколькими взмахами руки и при этом издал неестественный, вздымающий волосы вой, горцы сразу остановились.

Еще взмах руками, еще громче и заунывнее вой, (а вой будет понятным, если принять во внимание голос проснувшегося после свадьбы казака). „Маневр“ удался. Горцы быстро повернули своих лошадей и положились на гривы коней.

Ободренный успехом, Переверзев с гиком и воем выхватил шашку, спустился с кургана и дал повод своему отдохнувшему белому скакуну. Через несколько минут, не переставая издавать невероятные звуки, казак снес первую голову бегущего хищника. Еще до захода солнца шесть черкесов были срублены, а два так сильно пошли в стороны, что долго еще нужно было бы напрягать силы белому всаднику, чтобы догнать их.

Считая, что дело окончено и опасность миновала, Переверзев, уменьшив ход своего коня, повернул к отряду, захватив с собою двух неприятельских коней (других половили в степи на другой день).

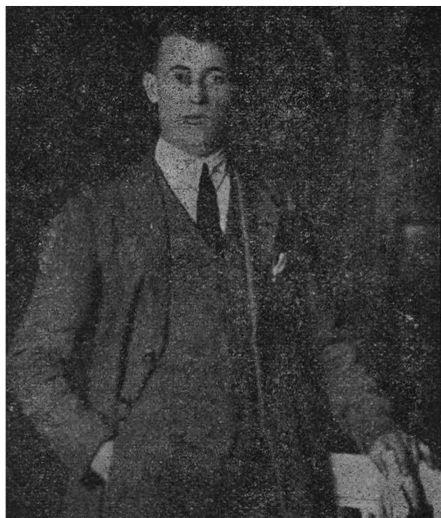
Казачья эмиграция.

От редакции.

Гонорар за статьи, корреспонденции, рассказы, стихи и др. материал, помещаемый в журнале „В. К.“, будет платиться впредь только в исключительных случаях и то лишь по предварительному соглашению с редакцией.

Материал, присылаемый в редакцию без особых оговорок, относительно гонорара, не оплачивается.

Большинство сотрудников и корреспондентов отказались уже от гонорара по своей инициативе.



Ф. А. ПОЛТАВЕЦ,
казак ст. Полтавской (Таман. отд.)
умер 3 мая с. г. от туберкулеза.

„Чья вина?“

Под этим заголовком в очередной своей листовке И. Алейников старается доказать свою невиновность в разложении Брненского хутора, сваливая, конечно, всю вину на Карпушкина и всех вольных казаков, как говорится, с большой головы на здоровую. Пишет „о давлении верхов“ В. К. на „низы“, о командировках „эмигрантов“ в Брно и проч. и проч. Ввиду того, что вопрос „чья вина?“ задает один из членов Брненского хутора, живущий далеко вне пределов г. Брно, не будет лишним ответить ему, чтобы познакомить с обстановкой, предшествовавшей „разложению хутора“. С одной стороны этот хуторянин будет иметь беспристрастную информацию, а с другой стороны И. Алейников поймет, что голословно обвинять кого-либо в разложении хутора нельзя, не имея к тому никаких данных да и совершенно не рационально тратить зря деньги на „информацию“ в то время, когда так настойчиво вдалбливает в умы хуторян „сознание своего долга“ перед хутором, внесением посильной лепты для поддержания хутора в финансовом отношении.

Тем более странным и непонятным кажется брошенное обвинение в адрес В. К. И. Алейниковым, который несколько лет тому назад, когда о движении В. К. не было, как говорится, ни слуху ни духу, первый в Брно объявил себя „не русским — казаком“.

И. Алейников наверное вспомнит, когда, играя первую скрипку в „Союзе Возрождения Казачества“ в Брно, был за свои подобные взгляды на казаков со-

провождает косыми и неприязненными взглядами со стороны русских. Наверное И. Алейников вспомнит и инцидент с г. Корольковым, членом Бр. хутора, который сорвал с дверей чертежной студ. общешития газетное сообщение для чешской общественности, которое при-не Бр. хутора в составе: атамана Е. С. Проколова, пом. ат. покойного В. Д. Донскова, Н. С. Калугина, казначей И. П. Мосева и писаря В. В. Карпушкина, было вынуждено отпечатать потому, что „кем-то“ в Брно упорно распространялись слухи, что, дескать, Брненский казачий хутор — это шайка большевиков. Это было некоторое время спустя, когда казаки-студенты в Брно, выйдя из Союза русских студентов, организовали свой хутор — казачий.

В этом газетном сообщении было черным по белому напечатано: „Казаки — потомки Ермака, Булавина, Ст. Разина“ и т. д. и уверение чешской общественности, что „брненские казаки — студенты отнюдь не большевики“. Корольков это сообщение сорвал. Какую позицию занимал в то время в этом инциденте И. Алейников? — „Исключить Королькова из хутора!“ Это и понятно. В правлении четгыре „возрожденца“ а И. Алейников был председателем Брненской ячейки Союза Возр. Каз.

Не лишним будет заметить, что большинство теперь ушедших из хутора суть бывшие члены Союза В. Каз., т. е. бывшие сотрудники И. Алейникова и непосредственные его „подчиненные“, ибо в С. В. К. была „партийная дисциплина“ и хуторские сборы „разыгрывались“ по заранее намеченному плану, иногда неудачно, но в большинстве случаев удачно. Обвиняя В. К. в своей очередной листовке в том, что де „верхи“ В. К. „приказывают и повелевают“, И. Алейников лишний раз доказывает свою непоследовательность. То, что делает И. Алейников и его „руководители“ — все так естественно и понятно, а что делают вольные казаки и их руководители, это — безнравственно. Но должен И. Алейников заметить, что этой „безнравственности“, т. е. слушать своих руководителей, мы научились от него же в Союзе Возрождения Казачества. (В действительности, никакого „давления“ „верхов“ В. К. на дела станицы не было, это просто „прием“ потерпевших очередное поражение сегодняшних сторонников госп. В. Т. Васильева.)

Что же случилось дальше? Союз Возр. К. распался. В казачья массы стала распространяться идея Вольного Казачества. Появился печатный орган Вольного Казачества, который завоевал симпатию широкой казачьей массы и занял первое место среди казачьей печати за границей. Как отнесся к этому движению И. Алейников? Вначале лучшего и не надо было ожидать. Один из первых стал получать журнал „Вольное Казачество“ и потом в частных беседах „рекомендовал пока в хуторе карты не открывать“. Но, к его несчастью, вольные казаки сами боялись „открыть карты“ перед ним, что, конечно, И. Алейников понял и понял то, что здесь ему первую скрипку играть не удастся.

Но, несмотря на это, до выпуска своей листовки № 3, открыто неприязни к Вольному Казачеству не выражал, наоборот, не так давно просил А. П. Алейникова о том, чтобы последний сообщил редактору журнала „В. К.“ желание И. Алейникова сотрудничать в журнале по истории Терского Каз. Войска и то же обещал мне, но по недавнем приезде из Праги уже на это времени не имел.

Переходя ко времени „разложения хутора“, еще коснусь в нескольких словах выборов при-я А. П. Алейникова и выборов при-я И. Алейникова. Припомню И. Алейникову о том, что перед сбором, на котором было при-не в составе А. П. Алейникова, меня и Б. С. Попова, И. Алейников с „нами“ сговаривался и говорил, что нужно выбирать „наших“ людей. Думаю, что под словом „наших“ подразумевал вольных казаков, ибо сговаривался с последними и заявил о недопустимости ст. Яковлева в при-е, а Б. С. Попова в атаманы. Чем руководствовался И. Алейников, когда

предлагал нам выбирать „наших“, не знаю, но, думаю, в следующей своей листовке об этом напишет, а пока это остается его секретом.

Перед сбором, следовательно, сговорились. Выборы произведены и так, как „наши“ и И. Алейников с ними хотели и даже сам И. Алейников был избран в ревиз. комиссию. Между прочим, на этом же сборе были горячие прения о принятии г. Демнова в хутор. В горячем споре принял И. Алейников не менее горячее участие и настаивал на непринятии Демнова, основываясь на том, что последний состоит в Общевоинском союзе. Но, к сожалению, большинство И. Алейникова не поддержало и Демнов в хутор принят был, а теперь даже помощником атамана, т. е. И. Алейникова.

Несмотря на эту неудачу, И. Алейников все же был результатами сбора доволен, ибо „наши“ были выбраны в большинстве. Конечно, о каком-либо полит. направлении хутора, по которому бы последний можно было повести пр-ие не думало. В частном же порядке, как Карпушкину, мне никто, конечно, не мог запретить исповедывать те или другие убеждения, но Б. С. Попов рассуждал, очевидно, иначе и пришел к убеждению, что, если в пр-ие два вольных казака, то и весь хутор вольноказачий (признается, не было бы это плохо). Из хутора поступали информации в русские организации, которые еще больше стали коситься на пр-ие и зорко следили за всем происходящим в хуторе, чтобы в удобный момент хутор проглотить (чему помог теперь И. Алейников своим атаманством). Б. С. Попов начал умышленно тормозить работу пр-ия, что впоследствии оказалось очевидным, когда он, несмотря на постановление, не послал собранные деньги для казачьего ребенка в Белград Дамскому Каз. Комитету, что исполнил потом, подчиняясь постановлению сбора. Когда же Б. С. Попов начал неизвестным образом приобретать копии бумаг, отправляемых атаманом и писарем и усмотрел „политику“ в том, что атаман и писарь послали в журнал „В. К.“ сообщение о выборах, стало ясно, что совместно с Б. С. Поповым работать в пр-ие нельзя и я на очередном сборе отказался от должности писаря. К тому же обострился вопрос, как посылать поздравление юбилянту Дру Крамаржу, совместно ли с русскими организациями, плетясь у них в хвосте, или же самостоятельно. Сбор приклонился к точке зрения вольных казаков и И. Алейникова, т. е. поздравить телеграммой самостоятельно. К этому же сбору произошел инцидент со ст. Запорожцем (пишу с его разрешения) CONTRA Союз русских студентов. По этому инциденту на сборе были предложены две резолюции. Одна, И. Алейникова, гласила: „Считать оскорбление, нанесенное ст. Запорожцу, оскорблением всего хутора и немедленно прекратить сношения с Союзом русских студентов“, и другая Б. С. Попова: „разобрать, как и что и т. д.“, словом, ни рыба ни мясо.

Так был настроен И. Алейников против русских до своего избрания в атаманы.

Напомним И. Алейникову и такой факт. Переходя с библиотекой „Земгора“ (И. Алейников представитель библиотеки „Земгора“ в Брно) в нынешнее помещение, которое, между прочим, нашли для него вольные казаки, и устраивая в нем и читальную, И. Алейников хотел воспрепятствовать массовому посещению библиотеки-читальной русскими, по его выражению, „чтобы поменьше сюда этой русской с... ходило“.

Таким образом, до своего избрания в атаманы И. Алейников имел все же определенное направление мысли; оскорбление ст. Запорожца считал оскорблением всего хутора и, естественно, оскорблением для самого себя, а ставши атаманом, И. Алейников просто вытер плевков со своей физиономии и сказал: „какое же здесь оскорбление?“

Приходится за такого казачьего атамана лишний раз покраснеть и сожалеть, что еще существуют казаки, которые играют роль (в меньшем только масштабе) Корнелия Яковлева. Последний из-за „шубенки“ с барского плеча, предал голову великого казака Степана Разина московским палачам, а в наше время И. Алейниковы, „не вынося сор из избы“ (как пишет в листовке № 3) дают казачьи дела на суд русских

людей, разослав последнюю листовку всем русским организациям, поместив в ней, конечно, фамилии вольных казаков.

Останавливаясь на выборах пр-ия И. Алейникова, прочтем сначала листовку: „На сборе 11-го января с. г. И. С. Алейников, названный кандидатом (противниками вольных казаков. К.) на должность атамана и не принадлежащий ни к одной из двух существовавших тогда в хуторе групп (А. Алейников — Б. Попов) предложил для прекращенного начинающегося раскола избрать „коалиционный кабинет“ по одному представителю от каждой группы“. Прочитав внимательно это сообщение, каждый поймет, что И. Алейников до сих пор еще наивный мальчик, думал ли, что таким предложением предупредит „раскол“. Ведь это просто ловля рыбки в мутной воде. Действительно, в пр-ие выбирались три члена, а принимая во внимание, что в хуторе две группы, а следовательно, И. Алейников третья группа, не принадлежащий, по его словам, ни к какой группе, вытекает, что группа Б. Попова получает один мандат, группа А. П. Алейникова тоже один мандат и И. Алейников, как третья группа — один мандат. У И. Алейникова, как говорится, губа не дура и надо быть весьма наивным, чтобы с одной стороны „такое“ предложение сделать, а с другой его принять, тем более, что было так очевидным желание И. Алейникова стать атаманом, для чего он запасся заранее поддержкой со стороны противников вольных казаков. Принимая во внимание, что противовольноказачья группа тянула к „едино-неделимой“ и в частности к русским организациям, а И. Алейников будучи всегда вольным казаком нанес своим, как говорится собратам, в последний момент удар в спину, примкнув к своим вчерашним противникам и т. обр. сыграл роль К. Яковлева.

Когда же И. Алейников понял, что слишком далеко зашел, посеяв разлад в хуторе своим „атаманством“, то начал сожалеть и обещал до Пасхи собрать сбор, на котором де сложит полномочия (что требовали вольные казаки при переговорах с представителем пр-ия), каковым обещанием заставил даже инж. К. взять свое заявление об уходе из хутора обратно, но обещание свое не исполнил.

Напрасно по этому И. Алейников обвиняет вольных казаков и, по его словам, все Вольное Казачество и разложении хутора. Если бы это было так, то чем объяснит И. Алейников уход из хутора не вольных казаков?

А добавив ко всему тому то, что И. Алейников заварил кашу в хуторе исключительно из-за личных счетов с одним из вольных казаков, доказывает только безхарактерность И. Алейникова и его незрелость, ибо порядочные и зрелые политики, никогда не смешивают личные симпатии с политической работой.

На будущее же советуем И. Алейникову оставить мою фамилию в покое. Хочет ли он вести полемику с Вольным Казачеством, пусть разговаривает как с таковым, оставив в стороне отдельные лица, ибо в противном случае каждый, спрашивающий: „Чья вина?“ — получит подобный ответ и будет невольно краснеть, как член хутора, возглавляемого таким „спасителем казачества“, который так часто меняет свои „ориентации“ и „убеждения“.

В. Карпушкин.



Калмыки футболисты. выигравшие средне-школьский кубок Ч. С. Р. на 1931 г.

Казачья эмиграция в Америке.

Казачья эмиграция появилась в Америке после расформирования казачьих строевых частей, находившихся на Балканах.

Казачьи джигиты стали работать на чужбине, как профессионалы, с легкой руки ген. Павличенка, сформировавшего в Югославии в 1922 г. свою первую команду. После этого было одно время, когда команды казачьих джигитов появились почти во всех странах Европы и Америки и знакомили иностранную публику с казачьими упражнениями и играми на лошади.



Кубанцы на ипподроме в Нью-Йорке.

В Северную Америку джигитовка была перенесена из Европы в 1926 г. Так же, как и в Европе, джигитовка имела здесь первое время большой успех, но потом, благодаря недоразумениям и интригам в казачьих верхах, это предприятие лопнуло, и часть джигитов возвратилась в Европу, а часть и по настоящее время находится здесь, продолжая работать на старом поприще, как джигиты, или же переменявши свою профессию на более подходящую. В данное время наши джигиты работают на киносъемках в Голливуде, где подвизается небезизвестный кубанский генерал Савицкий, о котором очень плохо отзываются бывшие джигиты за эксплуатацию им казаков в своих корыстных целях.

Кроме Голливуда несколько команд казаков-джигитов работает в американских цирках, где успешно конкурируют с американскими ковбоями. В Европе между прочим распространен взгляд, что казаки не могут конкурировать с ковбоями. Это не соответствует истине: казаки уступают иногда ковбоям в езде по пересеченной местности и на невыезженных диких мустангах; что же касается джигитовки, — казаки вне всякой конкуренции, что признают сами американцы, которые, будучи большими спортсменами, очень интересуются казачьей джигитовкой. Одна из команд, руководимая есаулом Селиным, подвизается ныне в Чикаго.

Кубанский войсковой хор был организован на острове Лемносе, как корпусный хор, и после переезда корпуса на Балканы, этот хор, согласно приказа по Войску, стал называться Кубанским войсковым хором.

Кубанский войсковой хор под управлением ес. С. Соколова, после успешного турне по Европе, прибыл в Америку. Вскоре, в виду разногласий, возникших в руководящей среде, хор разделился на две части: I Кубанский войсковой хор под управлением Соколова и второй — под управлением Шелухина. Хор Соколова обособился в Чикаго и существует по настоящее время, успешно давая концерты по всей Северной Америке. Второй хор осел в Нью-Йорке, где вошел в состав существующей там Терско-Кубанской станицы и после смерти своего регента Шелухина, умершего от туберкулеза, существует номинально, так как хористы устроились на различные работы, что и является в данное время источником их существования. Этот хор изредка выступает на концертах Терско-Кубанской станицы и других благотворительных вечерах и концертах.

Первый раз в этом году посетил Северную Америку Донской хор С. Жарова. Хотя этот хор и имел успех, главным образом у русской публики, но репертуар у него хуже, чем у кубанцев и в смысле исполнения он не может конкурировать с гастролировавшей здесь

раньше Украинской капеллой Кошица. Регент этого хора, С. Жаров, не казак и по образованию б. воспитаник синодальной школы. Поэтому почти весь репертуар Донского казачьего хора состоит из русских и в частности церковных номеров и весьма малого числа казачьих песен, и если бы казаки на сцене были не в казачьей форме, никто бы не знал, что концерт дают сыны Тихого Дона. В противоположность этому, когда кубанцы на своих концертах поют родные мотивы казачьих песен: „Полно вам, снежечки“ или „Понад лесником“, — не знаешь, плакать надо или смеяться от умиления и радости.

Что еще характерно в репертуаре Донского хора, так это то, что все номера имеют свою „жаровскую“ аранжировку, так что иногда сами композиторы не узнают своих вещей. По поводу всех этих ненормальностей в Донском хоре можно вывести такое заключение, что хористы, будучи связанными договорами с предпринимателями и регентом хора, дорожа службой в хоре, должны волей-неволей мириться с этим, а регент пользуется этим всем и ведет свою линию до конца.

В области хореографии большую славу создали себе наши танцоры (лезгинка), без которых не обходится ни один концерт или бал в русской колонии. Некоторые казаки стали профессиональными танцорами и выступают с казачьими танцами в американских театрах-варьете, цирках, ресторанах и барах. В Нью-Йорке упрочили себе славу лучших танцоров два казака: терец Захар Мартынов и кубанец М. Узданов (псевдоним).



Группа джигитов С. И. ПРОЦЕНКА в Филадельфии в 1926 году.

Очень колоритной фигурой среди казаков в Америке является „король кинжалов“, молодой кубанец Дм. Матвиенко.

Осенью прошлого года приехали в Нью-Йорк из Европы казаки-артисты: оперный певец, баритон Н. Мельников, и артист-балетмейстер И. Г. Костин, работавший прошлый сезон балетмейстером в чешском театре и имеющий кроме того свою балетную студию при чешском Соколе в Нью-Йорке.

Все то, что делают казаки-артисты в Америке, оспаривать не приходится; но если бы они стали работать в этой области только как казаки, они могли бы сделать еще более.

М. Черныш.

Нью-Йорк, 25 мая 1931 г.

Тоже — наука.

(Из Австралии).

Вероятно, многие знают, как произошло объединение ген. Дитерихсом всех военных организаций на Дальнем Востоке.

Здесь, в Австралии, подобное объединение хотел сделать ген. Толстов (Уральский Атаман). С этой целью им было выпущено обращение ко всем, „в ком бьется русское сердце“, в котором он призывал всех записываться в РОВС и сообщал, что он и сам записывается в таковой. Только что образовавшийся отдел РОВС в Австралии был „возмущен“ этим и начальни-

ком такового, полк. Поповым, был выпущен приказ, что обращение ген. Толстова в части, касающейся РО ВС, исполнению не подлежит.

Сразу создано два лагеря, что всегда полагается при таких объединениях.

Разрешения „недоразумения“ ждали из Парижа. Разговорам и спорам не было конца. Сторонники полк. Попова говорили, что ген. Толстова не могут назначить лицом, объединяющим все военные организации, потому что таковым является назначенный ген. Миллером начальник РОВС полк. Попов. А самым убедительным доводом против ген. Толстова было: „Он казак и не ген. штаба“. Наконец, пришел долгожданный ответ от ген. Миллера, и доводы против ген. Толстова: „казак и не генерального штаба“ — оправдались. Ему было предложено организовать казачью группу в Австралии. А в объединение „всех“ разве можно допустить казака и не ген. штаба!

И невольно мне вспомнились слова караульного начальника („С нами Бог“, П. Краснова): „Полковник ты вы — полковник, но... казачий“. Так и здесь: генерал ты вы — генерал, но... казачий и не ген. штаба...

Слушайте, казаки, — смотрите и разумеете. Если так сейчас здесь говорят выборному Атаману, главе Войска, то что же скажут там, на родине, когда власть будет в их руках?!

К.

Письмо в редакцию.

Уважаемый станичник редактор!

Не откажите в любезности поместить в журнале „В. К.“ нижеследующее:

5 мая 1931 г. в городской больнице гор. Августова (Польша) скончалась Матрена Быкова-Копняева, казачка Уральского Войска, и похоронена за счет кружка. На похороны был выписан священник из гор. Сувалок. Покойная Быкова-Копняева проживала в деревне в 40 в. от гор. Августова. Болела она около двух лет и добывала кусок хлеба очень тяжело. На 32 году своей жизни закончила свой эмигрантский путь; в тяжелых условиях она умерла, — ни родных, ни знакомых.

Кружок узнал, что в госпитале лежит казачка

больная, то ей было уже легче и веселей, ибо о ней позаботился кружок.

Все это хорошо, дорогие братья, так и должно быть, чтобы помогать друг другу, а потому я обращаюсь к казакам, проживающим в окрестностях гор. Августова, записаться в кружок и помогать по силе возможности в месяц по 1 зл. или 50 гр. Этим мы можем обеспечить свой несчастный случай и взаимно помогать друг другу. Дорогие братья, таких случаев было уже много, что умирали наши братья голодными и холодными.

Не так много лет прошло, как похоронен был Федор Иванович Клочков. Я до сего времени не могу забыть этого. Многие обвиняют меня, будто я бросил его и уехал в Варшаву. Тут много напрасных и несправедливых разговоров. Ведь никто не может знать, когда наступит смерть больного. Случилось так, что я должен был выехать по делам в Варшаву, а тем временем умер Ф. И. Клочков, и на его похоронах никто не присутствовал. Но, вероятно, мало кому известно, что в течение целого года, когда он лежал в больнице, я день и ночь бил пороги госпиталя в то время, как никто другой не заходил к нему, даже проходя мимо госпиталя. Говорят, что никто не знал. Да разве я один должен был знать об этом? Мы все братья, и все должны были заботиться, а не обвинять других. Дорогие братья, вот почему я и обращаюсь к вам с просьбой записываться в кружок и вносить хотя бы по паре грошей, чтобы и еще кого из нас не постигла участь Ф. И. Кружок существует уже больше года и имеет 45 чл. членов. За это время пришлось похоронить уже несколько человек и неоднократно оказывать помощь больным. Покойная Быкова не была членом кружка, а коснулось дело, — и к ней он отнесся, как к родной сестре: в Страстную субботу она имела в госпитале священника, который был выписан кружком из Вильны, поисповедывалась и причастилась, а на первый день Пасхи ей от кружка принесли передачу, — паску, яйца, молоко, апельсины и конфеты, всего на 5 зл. И мы рады, что могли доставить радость нашей больной и одинокой сестре-казачке. Любовь друг к другу пусть будет основой всех наших дел и идей.

Желающие записаться в кружок, пусть обращаются по адресу: Августов, Рынок, 23, А. Кирьянов.

В Казаки.

Письма с родины.

I.

Уважаемый станичник редактор!

Пересылаю вам полученное мною от... письмо. Если найдете возможным, то поместите его в родном журнале „Вольное Казачество“.

„Здравствуй, дорогой... Прости меня за долгое молчание. Я тебе прислал только одно письмо, а больше не писал, потому что мне было некогда. Я все время был в ст. У., работал в лесе, а к Троице пришел домой, и меня взяли и посадили в тюрьму, а маме сказали, чтобы они собирались на высылку. И когда я просидел трое суток, тогда меня вывели и посадили на бричку и повезли за станицу, а туда приехали мама и Оля со всеми вещами. И нас привезли в А. 4 июня, и еще сидим до сего времени на станции, ожидаем вагоны. И говорят, что придут вагоны не раньше 15 июня.

Приезжали к нам сюда Катя и Вера в гости, и вечером они уехали. Если бы ты посмотрел на нашу маму, то ты бы ее и не узнал, — такая она стала старой и плохая здоровьем. Я подал заявление в ГПУ, чтобы оставили маму и Олю, а меня пускай высылают, я один какнибудь буду. Но еще мне не сказали, оставлять их или нет. Высылают не одних нас, а из нашей станицы 7 семей и из В. и из хуторов. И все сидим в А. Итак, не обижайся, что мало написал, обнимаю и крепко целую. Твой... Ожидай новый адрес из Соловков“.

9-VI-1931 г.

II.

Высылаемому 17 лет. В январе он был выслан в Абхазию на принудительные работы по постройке Черноморско-Побережной ж. д. В апреле возвратился домой, но сразу же был выслан в ст. К. на лесные работы.

„Во-первых, спешу уведомить, что я пока жив и здоров, чего и вам желаю. А затем я вам буду сообщать, что я живу очень и очень плохо. Работы побочных нету, а так негде заработать, а в колхозе работаю до отчетного года, а потом опять до отчетного года. А я остался совсем голый и без штанов, только и того, шо живу дома, пока не высылают, потому шо я малым остався, 8-ми лет, от батька, вернее сказать — почти сиротой, то я пока дома, т. е. живу у тети... А те тоже не как дома. А дядю С. выслали со всею семьею в Ставропольскую губ., а дядю М. — в Донскую область. С., как кулака, а М. — за политику, а остальных — по назначению. А там дальше, шо буде твориться, то будем писать. А затем я вас буду просить и вы окажите мне свою родительскую помощь, пришлите мне хоч на тоненьки штаны, бо я без штанив, ни за шо в мене купить. Товары страшно повысылись, та й сыды не рыпайся. У нас посылки получают из Америки. Я думаю то и ваша должна дойти. А хiba нет средств, то тоди дело друге. А затем я вам буду писать, шо наше хозяйство все забрали и недвижимо и поддво-зылы у цегельню. А таки хата велика осталася, а то все, як пожаром перешло.“

Рятуйте нас, братья козаки, — мы погибаем от московского ига. Передайте, папаня, привет всем козакам. До свиданья, папаня. Ваш сын...

Что делают оккупанты?

„Золотое руно“.

В Краснодарском „К. З.“, в номерах от 26 до 30 июня с. г. напечатан ряд очерков некоего Л. Ленча о коммуне „Золотое Руно“ в ст. Динской. Из этих очерков, хотя косвенно мы можем узнать, что и как делается сейчас в наших станицах. Приводим их ниже почти целиком (один номер „К. З.“ не дошел, поэтому второго очерка нет совсем):

Лирически настроенный писатель по достоинству оценил бы и младенческую свежесть умытых вчерашним дождем акаций, и кроткую голубизну июньского неба, и прохладный утренний воздух, густой и сладкий, как сливки, — оценил и не пожалел бы красок для художественного описания просыпающейся станицы.

Но путешествующий журналист отметит в своем дорожном блокноте только одну деталь из всего прелестного пейзажа — босоногого парня, что шпарит рыхью вдоль заборов и, громыхая здоровенным дрючком в гудкие доски, вопит зазорным фальцетом:

— На работу! Эй, вставай, на работу!..

Босоногая „детль“, приводящая в ярость своей бесцеремонностью домовитых и свирепых станичных псов, хотя и нарушает несколько лирический распорядок утра, но зато сразу же вводит вас в курс динских событий.

— Станица коллективизирована почти целиком, — заключаете вы, следя за мелькающими вдали желтыми пятками колхозного герольда, — но труд в колхозе организован плохо: лодыри активны, а сельщина, по-видимому, еще не переломила хребет иждивенческим настроениям.

— На 5 процентов выполнили план прополочной, — сумрачно бурчит шагающий рядом станичный работник с традиционным брезентовым портфельчиком под мышкой, — большие невыходы на работу. Масса не мобилизована...

Желтые пятки живого будильника побывают этим утром во всех кварталах и стодворках Динской: штука сказать — почти 90 процентов коллективизации!

Но есть один квартал в станице, куда не заглянет настойчивый вестник колхозного труда. Туда ему заглядывать незачем. Уже давно, с песнями, с веселым гамом увели квартальные бригадиры в поля свою дружную армию. Уже давно полевод Данильченко Александр Михайлович мечтает от бригады к бригаде, от звена к звену, — внимательный, придирчивый и неутомимый. В кузнице вперевой стучат молотки, секретарь партийной ячейки Бондарев Павло Ондриевич, раздавая горы, рассказывает певуче:

— Задумаю я жениться, а грошив немае. Ось приходу я до кулака найматься, а вин, бисова душа, дае мини 60 карбованцев у год, харчи мои...

Квартал этот занимает переселенческая коммуна „Золотое руно“, в марте 1931 года осевшая на динских массивах. Переселяли коммуны в плановом порядке из сальских солончаков, где коммунары занимались животноводством и огородничеством, упорным, двуязыльным, талантливым трудом одолевая жестокую природу, губительные суховеи, прожорливые орды сусликов. Коммуна стала образцовым коллективным хозяйством. На Кубани коммунары переключаются на зерно, они должны будут передать молодым здешним колхозам опыт социалистического хозяйствования, служить примером коммунистического отношения к труду для вчерашних единоличников, словом и делом вести за собой колхозников кубанских станиц, — этот кирпич-сырец, еще не прокаленный, как следует, в огне артельной жизни. А на солончаках за Салом, ворча оседает сейчас выселенное с Кубани, ликвидированное, как класс, на основе сплошной коллективизации, — кулачье. Получив от диктатуры необходимые орудия производства и тягловую силу, кулаки впервые собственным путем полива-

ют трудные эти земли, выполняя государственные наряды.

— Придется им сусликов исты, — говорит Павло Ондриевич, усмехаясь в пшеничные усы, — як мы их у 1922 году илы...

И добавляет философически:

— Суслик он скусный. А жирный, стерва, что твий кабанюка.

Опыт планового переселения целых сельско-хозяйственных коллективов настолько интересен и с политической и чисто-хозяйственной точек зрения, что заслуживает самого внимательного и глубокого изучения. Практика „Золотого Руна“ в этом отношении весьма поучительна.

Коммуна возникла в селе Федосеевка в 1927 году. Сначала это была животноводческая артель, куда вошла вся сельская голь: 35 батраков, 39 бедняков, 3 служащих, середняков — 6. Кулаки нагло издевались над объединившейся бедной, над жуткими дырами посконных свиток, над жалкой тощей худобой, пряча в издевках испуг и лютую злобу.

— Це-ж навоз, а не люди! Що вони можуть зробить?

— Ось побачите, що зробим — отвечали им пастихи и подпаски, организованные коммунистом, красным партизаном Бондаревым и другими сельскими партияцами, — ось побачите, живоглоты!

И „зробылы“! Упорный и страстный артельный труд, государственный кредит (без финансовой поддержки пролетариата новый сельско-хозяйственный строй победить не может) большевицкая направленность и трудовая спайка обеспечили победу. В октябре 1929 года артель „Золотое Руно“ приняла устав коммуны, полностью обобществив производство и потребление. Характерно, что уже в процессе коллективного хозяйствования, в борьбе с жестокой и жадной природой и острыми трудностями роста артелищины незаметно для самих себя пришли к отрицанию собственности. Принятие устава коммуны было только агитационным и юридическим актом. Тут следует, конечно, оговорить, что бывший кулацкий пастих никогда, собственно говоря, и не был отягощен собственностью, дырявый овчинный тулуп и латаные опорки — весь его „основной“ и „оборотный“ капиталы...

Безысходную голь, над дырявыми свитками которой издеваются ржали кулаки, — сейчас не узнать. На каждом приличней пиджаке, чистой рубахе, крепкие сапоги. В коммуне свой клуб, стенгазета, библиотека, драматический кружок, товарищеский суд. Коммуна на несколько десятков тысяч рублей приобрела государственных займов и уже имела несколько крупных выигрешей. Но сколько же трудностей пришлось пережить (а сколько их еще впереди!) этим степным „одиссеям“ в борьбе за свое золотое руно. И сусликов ели, и переселялись несколько раз, в стужу, в снежную жгучую мятель лепили себе из глины мазанки, и с кулаками воевали, ликвидируя их, как класс, и лихорадкой отливов переболели. Всего было пережито много. Пережитое спаяло коллектив в одно монолитное целое. Крепкий политически и хозяйственно организм ядерными большевицкими дрожками влился в кубанскую колхозную сдобу.

III.

В день приезда коммуны в Динскую был митинг: колхозники встречали коммунаров. Станичные музыканты основательно потрудились в тот вечер.

Но вот умолкла „музыка боевая“, ораторы утерли взопревшие лбы и лысины и все разошлись по своим местам: коммунары — в отведенный им квартал, колхозники по своим хаткам.

И уже на следующий день кулак, охвостья которого цепким держи-деревом застряли в станице, атаковал коммуны. Глухим вечером — часовая стрелка перелазила за 11, кто-то разбил булыжником окно в доме правления коммуны, где шло посевное заседание. Комсомольцы выскочили на улицу и на огородах настигли удиравшего хулигана. Со страха хулиган испортил штаны и заверещал диким заячьим визгом.

— Ой, дяденьки, только не бейте!

Безусые „дяденьки“ бить не стали, но в милицию храбреца отвели. Оказался молодым парнем, динским колхозником, но... племянником высланного кулака.

Еще через день к Киричкову, комсомольцу, члену правления коммуны прибежали дивчата-коммунарки, бледные, испуганные до полусмерти.

— Ой, хлопцы, идите на вулицу, нас пугают!

Комсомольцы под командой Кириčkова устроили засаду и одного за другим переловили „пугавших“ — рожи вымазаны сажей, тулупы вывернуты шерстью вверх. И опять в милиции установлено было, что любители ночных маскарадов — родственники высланных кулаков.

Через неделю снова кто-то бил стекла в хатах коммунаров. Одержимый бессильной „собачей“ яростью кулак мелкими хулиганскими укусами пытался спровоцировать коммуны. Ядовитые слетни и дикие, гнусные в своей нелепости, слухи порхали из дома в дом. Кулацкий агитпроп работал полным ходом.

— Це кулацька коммуна!

— Це коммуна така: кочевая. У нас все поисть, зниметься, тай полетять дальше. Як твий саранчук.

— Слышала кума? Ставропольцы (так зовут коммунаров в станице Л.), з Диньской тикають, — не иначе наши с солончаков повертаються.

Но не „вертались“ „наши“: крепка рука диктатуры! И „ставропольцы“ не думали „тикать“: весенней прелью дышащая земля, охваченная великим пахотным нетерпением, ждала их, пышно раскинув черные жадные просторы. Но что было противопоставлено злобной кулацкой брехне о коммуне? Как сама коммуна шла в колхозную массу, что делала для того, чтобы показать колхознику образцы своей работы и жизни, рассеять дуратий, лживый, кулацкий туман?

Здесь со всей огкровенностью нужно сказать, что коммуна на путь активного воздействия на колхозную массу еще не стала, не сумела стать. Коммунары уверяли меня, что колхозники бывают на их собраниях. Я присутствовал на двух собраниях и колхозников не видел. Впрочем, на первое собрание явился какой-то потерявший старикан и до председательского звонка потолкался среди коммунаров. Старикан был выпивши, длинно и нудно врал он о своих бранных подвигах на „сопках Манчжурии“. На втором собрании, говорят, были две колхозницы...

IV.

Мы сидели у Павло Ондриевича и пили густой и вязкий калмыцкий чай. Трехлетний коммунар Васютка, с глазами такими синими, что они казались нарисованными, шепелявя и захлебываясь (волнение артиста!), пел асевскую песню:

С неба полуденного зала — не подступи,

Конница Буденного ласкинулась в степи...

Но тут в дверь постучали, и вошедший коммунар позвал Павло Ондриевича в контору: приехали представители из коммуны „Трудовая“ толковать насчет слияния. Я пошел вместе с ними.

Клуб коммуны уже гудел народом, Гости — 9 человек — сидели на скамейке, их окружала плотная толпа динских коммунаров. Счетовод „Трудовой“, комсомольского вида паренек, стоял перед стеннушкой „Золотого Руна“ и вслух читал заметки. Особенно понравилась ему одна, в которой автор срамил двух коммунарок за то, что они не хотят петь песни вместе со своей бригадой, а отойдут в сторону да и затают:

Ты, Наталка, ты, полтавка,

Не боится бога,

Променяла на вола

Петра молодого.

Автор усматривал в этом отрыв от коллектива и категорически рекомендовал исполнителям индивидуалистической Наталки, у которой столь экзотический вкус, опомниться и впредь петь „нормальные“ песни вместе со всей бригадой.

— Хорошая заметка, — сказал счетовод, — воспитательная.

Иван Маренич, неизменный председатель на собраниях „Золотого Руна“, объявил собрание открытым. Решили сделать так: сначала пусть выскажутся гости, расскажут все про свою коммуны, потом будут говорить от „Золотого Руна“, а затем — общие прения.

От „Трудовой“ говорил сутулый коммунар в синей

рубаше, без пояса, с горячими мечтательными глазами и чухлой бородашкой. обстоятельно и подробно рассказал он про жизнь и борьбу коммуны. По своему социальному составу, по хозяйственным достижениям, по количеству рабочих рук „Трудовая“ очень подходит к „Золотому Руну“. Недаром их словно магнитом тянет друг к другу. Необходимость слияния и организации общего крупного хозяйства на коммунальных основах для всех была ясна. Кончил свою речь горячеглазый гость призывом к „Золотому Руну“ бросить Динскую („цю кашу“, как сказал он, презрительно скривив губы) и уйти на Первую Речку Кочеты, на богатые бархатные земли, где можно отстроиться и такие огорды развести, что чертям тошно станет. Коммунарка из „Трудовой“, напряженно следившая за речью своего товарища, хрустнула пальцами, щеки ее покрылись красными пятнами, жадная мечта мутью запорошила глаза.

Начали задавать вопросы. Бухгалтер „Золотого Руна“ Яценко цифра за цифрой вытянул из счетовода „Трудовой“ весь баланс коммуны. Баланс был устойчивым и крепким. Вопросы сыпались, как горох.

— Займов сколько имеете?

— Есть ли детские ясли?

— Как учитываете труд?

— Во что обошелся трудовой в прошлом году?

Через полчаса коммуна „Трудовая“, словно невеста на смотринах, была осмотрена со всех сторон. Пришла очередь „Золотого Руна“. Маренич коротко и толково рассказал историю коммуны, упомянув, что переселяется она уже третий раз. Гости стали задавать вопросы, заставив белокурую коммунарку сделать отдельный доклад о детских яслях „Золотого Руна“.

Наконец, начались прения. Первыми говорили гости. И опять страстно звали „Золотое Руно“ на бархатные угодья Первой Речки Кочеты, соблазняли призывной огородной жизнью. Эти выступления были политически вредны: устами гостей — вне их воли — говорил классовый враг. Призрак стеклянной стены снова выплыл перед глазами. Но эта была уже не стеклянная, а высокая, колючая монастырская стена. Уйти от мира, от борьбы, от масс и где-то в уютном степном уголку строить для самих себя хорошую коммунистическую жизнь — вот о чем мечтали гости. Я понял, что мне придется выступать и выступать резко. Павло Ондриевич, тоже почуяв это, и, нагнувшись, шепнул мне на ухо:

— Раз’яснил бы ты им, а?

Но в это время Иван Маренич предоставил слово коммунару „Золотого Руна“ Нескребину. С задней скамьи поднялся пожилой человек — морщины густой резьбой покрывали его щеки. В руках он держал книжку „Беседы по агротехнике“. Вот что приблизительно сказал Нескребин:

— Я считаю, что уходить коммуне никуда не следует. Мы кто такие? Мы — коммунары. Мы — образцовая, показательная коммуна. Значит, наше дело быть с массами, от массы не отрываться, а вести ее за собой, учить. Нам на ступу делать нечего!

Речь старика произвела сильнейшее впечатление. Свое выступление я построил на этих безукоризненно верных словах, продиктованных бывшему батраку острым классовым чутьем и той политической проницательной грамотностью, которую дал ему опыт артельной жизни.

Опасная тенденция была разбита. Гости стали сдавать позиции. Только коммунарка с жаркими пятнами на щеках продолжала соблазнять „Золотое Руно“ огородными изобилиями:

— Така земля, така земля, што масло!..

Резолюция была принята такая:

— Сливаться обязательно, но при этом не забывать основного значения коммуны: быть с массами, быть для масс ведущим началом.

Начали выбирать комиссию для проведения слияния в жизнь. В клубе стало душно. Я пошел на воздух. Толстенная коммунарка из задних рядов настойчиво требовала:

— Запишит Антонову.

— Какую Антонову? — строго спросил Маренич.

— Их много, Антоновых.

Та Микишкину жинку, — восторженно прокричала толстуха.

Коммунары одобрительно засмеялись.



Открыта подписка

на иллюстрированный журнал литературный и политический
„ВОЛЬНОЕ КАЗАЧЕСТВО – ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО“

выходит 10 и 25 числа каждого месяца.

Условия подписки:	на 6 мес.	на год.
В Чехословакии	30 кр.	50 кр.
В Польше	10 зл.	15 зл.
В Югославии	40 дин.	70 дин.
В Болгарии	50 лева	100 лева
Во Франции	30 фр.	50 фр.
В других странах	1½ ам. д.	3 ам. д.

Редакция и администрация: Praha-Vinohrady, Hradecká, 2207. Tchecoslovaquie.

Подписную плату посылать только по адресу редакции.

Казак!

Подписывайтесь на свой журнал

„Вольное Казачество – Вільне Козацтво“.